Иван Бунин

Полное собрание сочинений

ВОСКРЕСЕНЬЕ

И. А. Бунин. 1933 г.

Б 91
УДК 882—821
ББК 84(2Рос=Рус)1

Общественный оргкомитет по изданию Полного собрания сочинений И. А. Бунина в тринадцати томах:

Л. К. Полежаев (председатель), А. А. Авдеев (зам. председателя), Г. З. Юшкявичюс (зам. председателя), П. О. Авен, П. А. Аверин, Д. Н. Ананьев, В. К. Бочкарев, Ю. В. Булычев, Н. В. Гавриленко, А. Г. Гучев, В. С. Липатов, Т. А. Мансуров, Е. А. Овчаренко, Жорж Полински, Ю. М. Поляков, В. Г. Распутин, В. И. Сальный, Г. Н. Селезнев, М. В. Сеславинский, Н. Н. Скатов, С. В. Степашин, Е. А. Столярова, В. Н. Сунгоркин, В. А. Фронин, В. Н. Шевченко.

Издание осуществляется с благословения митрополита Ташкентского и Среднеазиатского Владимира

БУНИН И. А.

Б91 **Полное собрание сочинений в 13 томах. Т. 8. «Это самая наша Русь!» *Любимые имена*; Из «Великого дурмана». Публицистика (избранное).** — М.: Воскресенье, 2006. — 544 стр. с ил.

Восьмой том Полного собрания сочинений И. А. Бунина состоит из двух частей.

Первая часть. «Это самая наша Русь!». *Любимые имена.* Открывает том знаменитое эссе Бунина «Думая о Пушкине» — рассказ о тайне узнавания и открытия «кладовой солнца» — пушкинского гения. Книги **«Освобождение Толстого»** и **«О Чехове»**, публикуемые в томе, давно уже признаны лучшими в художественно-мемуарной литературе об этих русских классиках.

В рубрике **«Новое и малоизвестное»** предстает Бунин — даровитый литературный критик. Его литературные обзоры, портреты поэтов Якова Полонского и Алексея Жемчужникова, заметки по эстетическим проблемам, опубликованные в периодических изданиях в юношеские годы, нередко под различными псевдонимами, никогда и нигде не переиздавались, несмотря на то, что в них уже четко, зрело обозначены маршруты развития неповторимого бунинского дарования.

Часть вторая. Из «Великого дурмана» — свод публицистических произведений Бунина (записки, заметки, открытые письма, интервью), написанных в основном в послеоктябрьское время по самым острым, судьбоносным общественно-политическим проблемам.

ISBN 5-88528-497-0 (Том 8)
ISBN 5-88528-478-4

© «Воскресенье», составление, верстка, 2006
© М.В. Георгиев. Оформление, макет, 2006
© И.И. Жуков. Составление, примечания, 2006

ОСВОБОЖДЕНИЕ ТОЛСТОГО

I

«Совершенный, монахи, не живет в довольстве. Совершенный, о монахи, есть святой Высочайший Будда. Отверзите уши ваши: освобождение от смерти найдено».

И вот и Толстой говорит об «освобождении»:

— Мало того, что пространство и время и причина суть формы мышления и что сущность жизни вне этих форм, но вся жизнь наша есть (все) бóльшее и бóльшее подчинение себя этим формам и потом опять освобождение от них...

В этих словах, еще никем никогда не отмеченных, главное указание к пониманию его всего.

Астапово — завершение «освобождения», которым была вся его жизнь, невзирая на всю великую силу «подчинения».

Помню, с каким восторгом сказал он однажды словами Пифагора Самосского: «Нет у тебя, человек, ничего, кроме души!» Знаю, как часто повторял Марка Аврелия: «Высшее назначение наше — готовиться к смерти». Так он и сам писал: «Постоянно готовишься умирать. Учишься получше умирать».

«Я — Антонин, но я и человек; для Антонина град и отечество — Рим, для человека — мир».

Для Толстого не осталось в годы его высшей мудрости не только ни града, ни отечества, но даже мира; осталось одно: бог; осталось «освобождение», уход, возврат к богу, растворение — снова растворение — в нем.

Князь Андрей слушал пение Наташи:

— Страшная противоположность между чем-то бесконечно великим и неопределенным, бывшим в нем, и чем-то узким и телесным, чем был он сам и даже была она, — эта противоположность томила и радовала его во время ее пения...

Эта «противоположность» томила Толстого с рождения до последнего вздоха.

Как умирал князь Андрей?

«Чем больше он в те часы страдальческого уединения и бреда, которые он провел после своей раны, вдумывался в новое, открытое ему начало вечной любви, тем более, сам не чувствуя того, отрекался от земной жизни. *Все, всех любить, всегда жертвовать собой для любви значило — никого не любить, значило — не жить этой земной жизнью».*

«Отверзите уши ваши, монахи: освобождение от смерти найдено. Я поучаю вас, я проповедую Закон. Если вы будете поступать сообразно поучениям, то через малое время получите то, ради чего благородные юноши уходят с родины на чужбину, получите высшее исполнение священного стремления; вы еще в этой жизни познаете истину и увидите ее воочию».

Христос тоже звал «с родины на чужбину»: «Враги человеку домашние его... Кто не оставит ради меня отца и матери, тот не идет за мной».

Их немало было, «благородных юношей, покинувших родину ради чужбины»: был царевич Готами, был Алексей Божий человек, был Юлиан Милостивый, был Франциск из Ассизи... К лику их сопричислялся и старец Лев из Ясной Поляны.

II

— Родился я и провел первое детство в деревне Ясной Поляне...

Он начал этими словами свои неоконченные «Первые воспоминания», которые писал для своего друга и последователя Бирюкова, предпринявшего составление его биографии. Он разделил тогда свою жизнь на семилетия, говорил, что «соответственно семилетиям телесной жизни человека, признаваемым даже и некото-

рыми физиологами, можно установить и семилетия в развитии жизни духовной». Этих семилетий было с небольшим недочетом двенадцать.

Первое — детство:

Рождение и жизнь в Ясной Поляне. Родился (от графа Николая Ильича Толстого и графини Марии Николаевны Толстой, урожденной княжны Волконской) 28 августа 1828 года*. На втором году от рождения потерял мать, умершую тридцати девяти лет. Учение начал дома, с гувернером-немцем, написанным в «Детстве» под именем Карла Ивановича.

Второе — отрочество:

Жизнь с семьей и продолжение учения в Москве. Там, на восьмом году от роду, потерял отца, внезапно умершего от разрыва сердца сорока двух лет.

Третье — юность:

Переезд сирот в Казань к бабушке по отцу, учение в казанском университете. Университетское учение, за малыми успехами** в науках и в силу собственного сознания «бесполезности всего того, чему эти науки учат», оставил со второго курса, чтобы воротиться в Ясную Поляну и посвятить себя сельскому хозяйству и заботам о своих крепостных. После разочарования и в этом, уехал в Москву, потом в Петербург, с намерением служить по гражданской службе.

---

* Даты везде по старому стилю. (*Прим. И. А. Бунина.*)

** Этим малым успехам много способствовала та светская жизнь, которую вел тогда юноша Толстой. Он поступил в университет сперва на факультет арабско-турецкой словесности, когда же, из-за своей светской праздности, не был переведен с 1-го курса на 2-ой, перешел на факультет юридический. Но и этот факультет не вызвал в нем охоты к университетскому образованию. «Что вынесем мы с вами из университета? — спрашивал он однажды одного своего товарища. — Что вынесем мы из этого святилища, возвратившись восвояси, в деревню? На что будем пригодны, кому нужны? Смерть князя Игоря, змея, ужалившая Олега, — что же это, как не сказки, и кому нужно знать, что второй брак Иоанна на дочери Темрюка совершился 21 августа 1562 года, а четвертый на Анне Колтовской в 1572 году? А как пишется история? Грозный царь Иоанн вдруг с 1560 года из добродетельного и мудрого превращается в бессмысленного, свирепого тирана. Как и почему? Об этом и не спрашивается!» Так уже и тогда стала обнаруживаться одна из самых главных черт его — вызывающее презрение к *общепринятому*, тоже идущее из жажды «освобождения», борьбы с «подчинением». (*Прим. И. А. Бунина.*)

Четвертое — от 21 года до 28 лет:

Разочарование в мечтах и о гражданской службе. Военная служба на Кавказе, потом в осажденном Севастополе. Начало писательства. Написал в это семилетие: «Детство», «Отрочество» и «Юность», «Севастопольские рассказы», «Метель», «Два гусара», «Утро помещика»; начал «Казаки».

Пятое — от 28 до 35 лет:

Выход из военной службы, заграничные путешествия для знакомства с постановкой школьного дела в Европе, педагогическая и судебная деятельность в Ясной Поляне — и женитьба на Софье Андреевне Берс. «Казаки» и начало «Войны и мира». В это семилетие потерял брата Дмитрия, потом брата Николая.

Шестое — от 35 до 42 лет:

Семейная жизнь, уже четверо детей, хозяйство, писание и печатание «Войны и мира».

Седьмое — от 42 до 49 лет:

Поездки на лечение кумысом в Самарскую губернию. Там же работа на голоде. «Анна Каренина». Рождение еще четверых детей (из которых два мальчика умерли).

Восьмое — от 49 до 56 лет:

«Исповедь». Переезд в Москву для воспитания детей. Знакомство с Чертковым. «Чем люди живы», «В чем моя вера», «Так что же нам делать». Рождение еще одного сына и еще одной дочери (Александры).

Девятое — от 56 до 63 лет:

Жизнь в Москве. Рассказы для народа, «Смерть Ивана Ильича», «Власть тьмы», «Плоды просвещения», «Крейцерова соната», начало писания «Воскресения». Рождение еще одного ребенка, Ванечки.

Десятое — от 63 до 70 лет:

Новая работа на голоде (в Тульской губернии). Отказ от авторских прав на все, что написано после 1881 года. «Царство Божие внутри вас», «Хозяин и работник», «Об искусстве». Смерть Ванечки.

Одиннадцатое — от 70 до 77 лет:

Первая тяжелая болезнь. Появление в печати «Воскресения». Отлучение от церкви. Переезд всей семьи в Ясную Поляну. Зима в Крыму, где пережиты еще воспаление легких и брюшной тиф. Начало составления «Круга чтения». Писание писем и обращений: к духовным друзьям и последователям, к правительству, к военным, к церковнослужителям, к политическим и общественным деятелям...

И, наконец, двенадцатое, недожитое — от 77 до 83 лет:

Смерть наиболее любимой и близкой по духу дочери Маши. Тайное составление завещания, в котором право на все его писания передавалось Александре Львовне, а распоряжение ими Черткову. Бегство в ночь с 27 на 28 октября 1910 года из Ясной Поляны; болезнь в пути и смерть на железнодорожной станции Астапово (7 ноября).

Эта смерть была его последним «освобождением».

Уйти, убежать он стремился давно. Еще в 1884 году писал в дневнике:

— Ужасно тяжело. Напрасно не уехал... Этого не миновать...

В 1897 году опять совсем было решил уйти, даже написал прощальное письмо Софье Андреевне — и опять не осуществил своего решения: ведь бросить семью — это, значит, думать только о себе, а каково будет семье, какой это будет для нее удар! Он тогда писал:

— Как индусы под шестьдесят лет уходят в лес, как всякому религиозному человеку хочется последние годы жизни посвятить богу, а не шуткам, каламбурам, сплетням, теннису, так и мне, вступая в свой семидесятый год, всеми силами души хочется этого спокойствия, уединения и хоть неполного согласия, но не кричащего разногласия со своими верованиями, со своей совестью...

То же писал и в ночь бегства:

— Я делаю то, что обыкновенно делают старики моего возраста. Уходят из мирской жизни, чтобы жить в уединении и в тиши последние дни своей жизни...

К бегству подбивали его и со стороны. За месяц до бегства он писал:

«От Черткова письмо с упреками и обличением», — за то, что он, Толстой, все продолжает жить так, как живет. — «Они разрывают меня на части. *Иногда думается уйти ото всех*»*.

Чертков впоследствии оправдывался, говорил, что не настаивал на его уходе. Нет, он только колебался, — например, так писал толстовцу болгарину Досеву:

— Если бы он ушел из дому, то, при его преклонных летах и старческих болезнях, он уже не смог бы жить физическим трудом. Не мог бы он также пойти с посохом по миру и заболеть и умереть где-нибудь на большой дороге или прохожим странником в чужой

* Всюду, где это не оговорено, курсив мой. (*Прим. И. А. Бунина.*)

избе... он не мог бы так поступить из простой любви к любящим его людям, к своим дочерям и друзьям, близким ему по сердцу и духу. Он не мог бы, не становясь жестоким...

Как бы там ни было, он решился наконец и на полную возможность «умереть где-нибудь на большой дороге» и на «жестокость». 28 октября он был уже в Оптиной Пустыни:

— 28 окт. 1910 г., Оптина Пустынь. Лег (вчера) в половине 12. Спал до третьего часа. Проснулся и опять, как прежние ночи, услыхал отворяние дверей и шаги. В прежние ночи я не смотрел на свою дверь, нынче взглянул и вижу в щелях яркий свет в кабинете и шуршание. Это Софья Андреевна что-то разыскивает, вероятно, читает. Накануне она просила, требовала, чтобы я не запирал дверей. Ее обе двери отворены, так что малейшее движение слышно ей. И днем и ночью все мои движенья, слова должны быть известны ей и быть под ее контролем. Опять шаги, осторожное отпирание двери, и она проходит. Не знаю отчего, это вызвало во мне неудержимое отвращение, возмущение. Хотел заснуть, не могу, поворочался около часа, зажег свечу и сел. Отворяет дверь и входит Софья Андреевна, спрашивая «о здоровье» и удивляясь на свет у меня. Отвращение и возмущение растет, задыхаюсь, считаю пульс: девяносто семь. Не могу лежать и вдруг принимаю окончательное решение уехать. Бужу Душана*, потом Сашу, они помогают мне укладываться. Я дрожу при мысли, что она услышит, выйдет, — сцена, истерика, и уж впредь без сцены не уехать. В 6-м часу все кое-как уложено; я иду на конюшню велеть закладывать; Душан, Саша, Варя доканчивают укладку. Ночь — глаз выколи, сбиваюсь с дорожки к флигелю, попадаю в чащу, накалываюсь, стукаюсь об деревья, падаю, теряю шапку, не нахожу, насилу выбираюсь, иду домой, беру шапку и с фонариком добираюсь до конюшни, велю закладывать. Приходит Саша, Душан, Варя. Я дрожу, ожидая погони. Но вот уезжаем. В Щекине ждем час, и я всякую минуту жду ее появления. Но вот сидим в вагоне, трогаемся, и страх проходит, и поднимается жалость к ней, но не сомнение, сделал ли то, что должно. Может быть, ошибаюсь, оправдывая себя, но кажется, что я спасал себя — не Льва Николаевича, а спасал то, что иногда и хоть чуть-чуть есть во мне. Доехали до Оптиной. Я здоров, хотя не спал и почти не ел. Путешествие от Горбачева в третьеклассном

* Доктор Душан Маковицкий, домашний врач, друг и последователь. (*Прим. И. А. Бунина.*)

набитом рабочим народом вагоне очень поучительно и хорошо, хотя я и слабо воспринимал. Теперь 8 часов, мы в Оптине...

О том, куда ему направиться, после того как он убежит из Ясной Поляны, он думал нечто очень неопределенное: «Куда-нибудь за границу... например, в Болгарию... Или в Новочеркасск и дальше — куда-нибудь на Кавказ...» В последнюю минуту он выбрал как первую цель монастырь в селе Шамардине, где доживала свою жизнь его престарелая сестра, монахиня матерь Мария.

— Ты останешься, Саша, — сказал он дочери в ночь бегства. — Я вызову тебя через несколько дней, когда решу окончательно, куда я поеду. А поеду я, по всей вероятности, к Машеньке в Шамардино...

«К Машеньке» — это значит: к той единственной, что осталась на свете от того бесконечно далекого времени, когда только что начиналась жизнь, когда «нам, братьям, было — мне 5, Митеньке 6, Сереже 7, и Николенька (которому было 11) объявил нам, что у него есть тайна, посредством которой, когда она откроется, все люди сделаются счастливыми, не будет ни болезни, никаких неприятностей, никто ни на кого не будет сердиться, и все будут любить друг друга, все сделаются «муравейными братьями...» Известно, что это было, эти муравейные братья:

— Вероятно, это были моравские братья, о которых Николенька слышал или читал. Я помню, что слово «муравейные» нам особенно нравилось, напоминая муравьев в кочке. Мы даже устроили игру в муравейные братья, которая состояла в том, что садились под стулья, загораживали их ящиками, завешивали платками и сидели там в темноте, прижимаясь друг к другу. Я, помню, испытывал особенное чувство любви и умиления и очень любил эту игру. Муравейные братья были открыты нам, но главная тайна о том, как сделать, чтобы все люди не знали никаких несчастий, никогда не ссорились и не сердились, а были бы постоянно счастливы, эта тайна была, как он нам говорил, написана им на зеленой палочке, и палочка эта зарыта у дороги, на краю оврага старого Заказа, в том месте, в котором я, так как надо же где-нибудь зарыть мой труп, просил, в память Николеньки, закопать меня...

Последние годы его жизни были несказанно трогательны и прекрасны. И вот в это время он ехал однажды с Александрой Львовной верхом мимо этого места:

«Мы возвращались с отцом домой, поравнялись с полянкой, где весной на бугорке цвели голубым полем незабудки, а летом росли бархатные с розовым корнем и коричневой подкладкой крепкие грибы боровики. Отец окликнул меня:

— Саша!

И, когда я, пришпорив лошадь, подъехала, он сказал:

— Вот тут, между этими дубами... — Он натянул повод и хлыстом, отчего лошадь нервно дернулась, указал мне место. — Тут схороните меня, когда я умру...»

Теперь, в эту последнюю свою ночь в том доме, где он провел почти весь свой век, он расставался даже и с этой мечтой — лежать в могиле среди тех родных дубов, место которых было связано с памятью Николеньки. «Иногда думается уйти ото всех». Мог бы прибавить: и ото всего.

Почему он бежал? Конечно, и потому, что «тесна жизнь в доме, место нечистоты есть дом», как говорил Будда. Конечно, и потому, что не стало больше сил выдерживать многолетние раздоры с Софьей Андреевной из-за Черткова, из-за имущества... Софья Андреевна, заболевшая в конце концов и душевно и умственно, довела уже до настоящего ужаса своими преследованиями, и уже крайних пределов достиг стыд — жить в безобразии этих раздоров и в той «роскоши», которой казалась ему жизнь всей семьи и в которой и сам был принужден жить. Но только ли эти причины побуждали к бегству?

— Мне очень тяжело в этом доме сумасшедших, — писал он в своем дневнике.

Но писал и другое, гораздо более важное:

— Хороша у Ж.-П. Рихтера сказка об отце, воспитавшем детей под землей. Им надо умереть, чтобы выйти на свет. И они страшно желали смерти...

— Нет более распространенного суеверия, что человек с его телом есть нечто реальное.

— Хорошо думал *о безумии личной жизни — не только личной жизни своей, но и жизни общей, временной.*

— Что такое я? Отчего я?

— *Пора проснуться, то есть умереть.*

— *Вещество и пространство, время и движение отделяют меня и всякое живое существо от всего Бога.*

— Все меньше понимаю мир вещественный и, напротив, все больше и больше сознаю то, что *нельзя понимать, а можно только сознавать.*

— «Но как же род человеческий?» Не знаю. Знаю только, что закон совокупления не обязателен человеку.

— Подняться на точку, с которой видишь себя. Все в этом.

— Мой дух живет и будет продолжать жить. «Но это уже не твой будет дух», — говорят на это. *То-то и хорошо, что к этому тому, что останется жить после меня, не будет примешана личность*, отвечаю я. Личность есть то, что мешает слиянию моей души со Всем.

— Тело? Зачем тело? Зачем пространство, время, причинность?

Он бежал «куда-нибудь» и не мог не знать, что, по его годам и слабостям телесным, при тех обмороках, в которые он впадал дома при малейшем переутомлении, ждала его на пути только смерть. «Но это-то и хорошо». Лишь бы не умереть, как умирает человек этого мира, а умереть, как зверь, — по древнейшему закону природы: в той священной тайне, в которой умирает «где-то» всякий свободный зверь, всякая свободная птица, ибо никогда не находит человек ни свободного зверя, ни свободной птицы мертвыми ни в городе, ни в деревне, ни даже в чистом поле. И, умирая, в бреду, несвязно внешне, но совершенно точно внутренне, он сказал (в полном соответствии со всем тем, что цитировано выше) чисто индусские слова:

— *Все Я... все проявления... довольно проявлений...*

Есть в книге его секретаря Булгакова запись, поражающая всех: «Я разлюбил Евангелие, сказал мне Лев Николаевич за 4 месяца до своей смерти». Но ничего не будет в этих словах поразительного, если вспомнить, что́ он сказал о своей жизни, разделив ее «на три фазиса». Сперва, деля ее на семилетия, он писал Бирюкову:

— Когда я подумал, чтобы написать всю истинную правду о себе, не скрывая ничего дурного моей жизни, я ужаснулся перед тем впечатлением, которое должна была бы произвести такая биография... Я записал у себя в дневнике 6 января 1903 года следующее: «Я теперь испытываю муки ада: вспоминаю всю мерзость моей прежней жизни, и воспоминания эти не оставляют меня и отравляют мне жизнь...»

Потом он разделил свою жизнь «на периоды» и суд себе вынес уже более милостивый:

— Вспоминая свою жизнь, то есть рассматривая ее с точки зрения добра и зла, которые я делал, я увидал, что вся моя длинная жизнь распадается на четыре периода: тот чудный, в особенности в сравнении с последующим, невинный, радостный, поэтический период детства до четырнадцати лет, потом второй — ужасные двадцать лет грубой распущенности, служения честолюбию, тщеславию и, главное, похоти, потом третий — восемнадцатилетний период,

то есть от женитьбы и до моего духовного рождения, который с мирской точки зрения можно бы назвать нравственным, так как в эти восемнадцать лет я жил правильной, честной, семейной жизнью, не предаваясь никаким осуждаемым общественным мнением порокам, но все интересы которого ограничивались эгоистическими заботами о семье, об увеличении состояния, о приобретении литературного успеха и всякого рода удовольствиями. И, наконец, четвертый — двадцатилетний период, в котором я живу теперь и в котором надеюсь умереть и с точки зрения которого я вижу все значение прошедшей жизни и которого я ни в чем не желал бы изменить, кроме как в тех привычках зла, которые усвоены мною в прошедшие периоды...

В последние годы он делил свою жизнь на «фазисы».

— Человек переживает три фазиса, и я переживаю из них третий. В первый фазис человек живет только для своих страстей: еда, питье, охота, женщины, тщеславие, гордость — и жизнь полна. Так у меня было лет до тридцати четырех, потом начался интерес блага людей, всех людей, человечества (началось это резко с деятельности школ, хотя стремление это проявлялось кое-где, вплетаясь в жизнь личную, и прежде). Интерес этот затих было в первое время семейной жизни, но потом опять возник с новой и страшной силой, при сознании тщеты личной жизни. Все религиозное сознание мое сосредоточивалось в стремлении к благу людей, в деятельности для осуществления царства божьего. И стремление это было так же сильно, так же страстно, так же наполняло всю жизнь, как и стремление к личному благу. Теперь же я чувствую ослабление этого стремления: оно не наполняет мою жизнь, оно не влечет меня непосредственно; я должен рассудить, что эта деятельность хорошая, деятельность помощи людям материальной, борьбы с пьянством, с суевериями правительства, церкви. Во мне, я чувствую, выделяется, высвобождается из покровов новая основа жизни, которая включает в себя стремление к благу людей так же, как стремление к благу людей включало в себя стремление к благу личному. Эта основа есть служение богу, исполнение его воли по отношению к той его сущности, которая во мне. Не самосовершенствование — нет. Это было прежде, и в самосовершенствовании много было любви к личности. Теперь другое. Это стремление к чистоте божеской. Стремление это начинает все больше и больше охватывать меня, и я вижу, как оно охватит меня всего и заменит прежние стремления, сделав жизнь столь же полною... Когда во мне исчез интерес к личной жизни

и не вырос еще интерес религиозный, я ужаснулся, чувствуя, что мне нечем жить, но потом, когда возникло *религиозное чувство стремления к благу человечества*, я в этом стремлении нашел полное удовлетворение и стремление к благу личности; точно так же теперь, когда исчезает во мне прежнее страстное стремление к благу человечества, мне немножко жутко, как будто пусто, но стремление к той жизни и приготовление себя к ней уже заменяет понемногу прежнее, вылупляется из прежнего и точно так же, как и стремление к личному благу, удовлетворяет вполне и лучше стремления к благу общему. Готовясь только к той жизни, я вернее достигаю служения благу человечества, чем когда я ставил себе целью это благо. Точно так же, как, стремясь к благу общему, я достигал своего личного блага вернее, чем когда я ставил себе целью личное благо. *Стремясь, как теперь, к богу, к чистоте божеской сущности во мне*, к той жизни, для которой она очищается здесь, я попутно достигаю вернее, точнее блага общего и своего личного блага както неторопливо, несомненно и радостно...

Древняя индусская мудрость говорит, что человек должен пройти два пути в жизни: Путь Выступления и Путь Возврата. На Пути Выступления человек чувствует себя сперва только своей «формой», своим временным телесным бытием, своим обособленным ото всего Я, находится в тех своих личных границах, куда заключена часть Единой Жизни, и живет корыстью чисто личной; затем корысть его расширяется, он живет не только собой, но и жизнью своей семьи, своего племени, своего народа, и растет его совесть, то есть стыд корысти только личной, хотя все еще живет он жаждой «захвата», жаждой «брать» (для себя, для своей семьи, для своего племени, для своего народа). На Пути же Возврата теряются границы его личного и общественного Я, кончается жажда брать — и все более и более растет жажда «отдавать» (взятое у природы, у людей, у мира): так сливается сознание, жизнь человека с Единой Жизнью, с Единым Я — начинается его духовное существование.

«Человек переживает три фазиса...»

III

Из Ясной Поляны он выбрался между 4 и 5 часами утра (как записал Маковицкий, с удивительной точностью, много лет, изо дня в день, ведший свои записи о нем). Вез его в старой дышловой коляске старый кучер Адриан. Коляску сопровождал верхом,

освещая путь факелом, конюх Филипп. Ехали на станцию Щекино Московско-Курской ж. д. (5 верст от Ясной Поляны). В дороге было холодно, и Маковицкий надел на него вторую шапку. На станции Щекино сели в товаро-пассажирский поезд, шедший от Тулы на Орел. На узловой станции Горбачево (105 верст от города Козельска Калужской губернии) пересели в смешанный поезд. В 4 ч. 50 вечера приехали в Козельск, в 5 верстах от которого находился древний мужской монастырь «Оптина Введенская Пустынь», а в четырнадцати верстах далее, в большом селе Шамардине, тот женский монастырь, где давно монашествовала Мария Николаевна.

Когда прибыли в Козельск, уже совсем смеркалось. Со станции поехали в монастырь в ямщицкой тележке по речной низменности, отделяющей Козельск от монастыря. Дорога была ужасная, грязная, говорится в записях Маковицкого. Было очень темно. Месяц светил из-за облаков. Лошади шли шагом. «Лев Николаевич спрашивал еще в вагоне и теперь спросил (ямщика), какие есть старцы в Оптиной, и сказал, что пойдет к ним». Под монастырем переправлялись через реку на пароме. В монастыре остановились у гостинника-монаха о. Михаила. О. Михаил, с рыжими, почти красными волосами и бородой, приветливый, отвел просторную комнату с двумя кроватями и широким диваном. Внесли вещи. Лев Николаевич сказал: «Как здесь хорошо!» И сейчас же сел за писание. Написал довольно длинное письмо и телеграмму Александре Львовне. Потом пил чай с медом (ничего не ел), попросил яблоко на утро и стакан, куда на ночь ставил самопишущее перо. Потом стал писать дневник, спросил, какое сегодня число. В 10 часов лег спать... Пиша, больше обыкновенного торопился...» Когда ложился спать, Маковицкий хотел помочь ему снять сапоги, и он рассердился: «Я хочу сам себе служить!»

Никому до сих пор не известно: думал ли он остаться в Оптиной или Шамардине? Как там было остаться отлученному от церкви, не примирившись с нею? И вот предполагают: может быть, он хотел примириться. Для такого предположения есть некоторые основания.

Мой покойный друг Лопатина (сестра известного философа Льва Лопатина) рассказывала мне:

— Я была после смерти Толстого в Шамардине. Через широкую речку к монастырю перевозили на пароме монахи в белых подрясниках и белых скуфейках. Такие же монахи работали в полях. Кругом все радовало — тишиной, красотой, миром, был жаркий

летний день. В чистеньком номере монастырской гостиницы, светлом, тесном и бедном, со странной маленькой деревянной кроватью, может быть, еще времен Бориса Годунова, за чаем с просфорами, монах много говорил о последнем посещении монастыря Толстым:

«Приехал, постучал и спрашивает: «Можно мне войти?» Гостинник говорит: «Пожалуйте». — «Ведь я Толстой, может, вы меня не примете?» — «Мы всех принимаем, — говорит гостинник, — всякого, кто желание имеет». Они и остановились у нас. Потом пошли к настоятелю, потом ездили в Шамардино, к сестре своей монахине... Потом за ними приехали...»

Монах еще говорил, что перед крыльцом настоятеля Лев Николаевич стоял на холоде и сырости с шапкой в руках. Он опять не хотел входить прямо, опять просил служку доложить: «Скажите, что я Лев Толстой, может быть, мне нельзя?» Монах сам вышел к нему, раскрыв объятия, и сказал: «Брат мой!» Лев Николаевич бросился к нему на грудь и зарыдал...

Приехав в Шамардино, к Марии Николаевне, он радостно сказал ей: «Машенька, я остаюсь здесь!» Волнение ее было слишком сильно, чтобы сразу поверить этому счастью. Она сказала ему: «Подумай, отдохни...»

Он вернулся к ней утром, как было условлено, но уже не один: вошли и те, что за ним приехали. Он был смущен и подавлен, не глядел на сестру. Ей сказали, что едут к духоборам.

— Левочка, зачем ты это делаешь? — воскликнула она.

Он посмотрел на нее глазами, полными слез.

Ей сказали (Александра Львовна):

— Тетя Маша, ты всегда видишь все в мрачном свете и только расстраиваешь папá. Все будет хорошо, вот увидишь...

И отправились с ним в его последнюю дорогу...

Если бы были свидетельства только вроде вот этих, можно было бы не придать им значения: и сама Лопатина, и подобные ей по духу, по правоверной, церковной религиозности, легко могли поддаться искушению создать легенду, будто он действительно стремился примириться с церковью. Но оказались и другие свидетельства.

Не случайно же все-таки поехал он в Шамардино. Заехал туда по пути? Но по пути куда? И зачем? Повидаться с сестрой? Но с какой целью? Просто с родственной? Но ведь, может быть, не только с родственной? Как бы там ни было, он поехал в Шамардино, ехал

через Оптину Пустынь; по дороге туда от Козельска спрашивал ямщика о старцах, там ночевал и провел весь день в монастырской гостинице. Зачем? Известно, что много беседовал с о. Михаилом, — опять расспрашивал о старцах, спасающихся при монастыре в скиту, выражал желание повидаться с ними, а потом «вышел, бродил возле скита, дважды подходил к дому старца о. Варсонофия, стоял у его дверей, но не взошел»...

Это говорит, — то же, что и Лопатина, — известный журналист Ксюнин, посетивший Шамардино тотчас после его смерти. Он многое говорит в своей книге «Уход Толстого» со слов матери Марии и, между прочим, следующее: когда Толстой пришел к сестре, — он и в Шамардине остановился в монастырской гостинице, — они долго сидели, затворившись ото всех в ее спальне. Вышли только к обеду, и тогда Толстой сказал:

— Сестра, я был в Оптиной, как там хорошо! С какой радостью я жил бы там, исполняя самые низкие и трудные дела; только поставил бы условием не принуждать меня ходить в церковь.

— Это было бы прекрасно, — отвечала сестра, — но с тебя взяли бы условие ничего не проповедовать и не учить.

Он задумался, опустил голову и оставался в таком положении довольно долго, пока ему не напомнили, что обед окончен.

— Виделся ты в Оптиной со старцами? — спросила сестра.

Он ответил:

— Нет... Разве ты думаешь, что они меня приняли бы? Ты забыла, что я отлучен...

Чем бы все это кончилось? Может быть, и состоялись бы его встречи с оптинскими старцами и, может быть, привели бы они к возвращению его в лоно церкви. Но на другой день в Шамардино приехала Александра Львовна и привезла страшные вести из Ясной Поляны, — о том, что Софья Андреевна, узнав утром 28 октября о его бегстве, дважды покушалась на самоубийство (два раза убегала на пруд и топилась), рыдала весь день, била себя в грудь то тяжелым пресс-папье, то молотком, колола себя ножами, ножницами, рвалась выброситься в окно и все кричала:

— Я его найду, я убегу из дому, побегу на станцию! Ах, только бы узнать, где он! Уж тогда-то я его не выпущу, день и ночь буду караулить, спать буду у его двери!

Ее письмо к нему, которое привезла с собой Александра Львовна, было тоже совершенно ужасно по своему отчаянию. И вот, потрясенный и этим письмом, и всем тем, что было после его бегства

в Ясной Поляне, охваченный ужасом, что, того гляди, Софья Андреевна узнает, где он, и бросится за ним в погоню, он побежал дальше.

— Я не могу вернуться, я не вернусь, — все повторял он в день приезда Александры Львовны. — Я хотел здесь остаться, я даже избу ходил нанимать здесь на житье себе...

Но теперь остаться было невозможно. Он провел весь день 30 октября за тревожным писанием нового письма Софье Андреевне, писал, сидя в жарком номере под открытой форточкой, которую не позволил закрыть, лег спать в тревоге и тоске, разрываемый и жалостью к Софье Андреевне, и невозможностью вернуться домой, и опять вскочил еще в темноте, в 4 часа утра.

— В 4 часа он разбудил Душана Петровича, послал за ямщиками, — говорит Александра Львовна. — Помня обещание, данное мною тете Маше непременно повидаться с ней в случае отъезда дальше, я тотчас же послала за ней. Было еще совсем темно. При свете свечи я торопливо собирала вещи, завязывала чемоданы. Пришел Душан Петрович. Козельские ямщики подали лошадей... Отец очень волновался, наконец решил ехать, не дождавшись тети Маши и Оболенской, которым написал следующее письмо:

«Шамардинский монастырь. 31 октября 1910 года, 4 ч. утра. Милые друзья, Машенька и Лизанька. Не удивляйтесь и не осудите нас, меня за то, что мы уезжаем, не простившись хорошенько с вами. Не могу выразить вам обеим, особенно тебе, голубушка Машенька, моей благодарности за твою любовь и участие в моем испытании. Я не помню, чтобы, всегда любя тебя, испытывал бы к тебе такую нежность, какую я чувствовал эти дни и с которой уезжаю. Уезжаем мы так непредвиденно потому, что боюсь, что меня застанет здесь Софья Андреевна. А поезд только один, в восьмом часу. Целую вас, милые друзья, и так радостно люблю вас. Л. Т.».

Куда он бежал теперь? Решено было — пока в Новочеркасск. Но решали только его спутники — сам он, разбитый, шатающийся от усталости и пережитых волнений, только торопил бежать:

— Все равно куда... только ни в какую ни в толстовскую колонию, а просто в мужицкую избу...*

На станции Козельск едва успели попасть в поезд, шедший на юг, вскочили в вагон без билетов. На станции Волово взяли билеты

* О колониях толстовцев он всегда говорил неприязненно: «Жить святым вместе нельзя. Они все помрут. Одним святым жить нельзя». (*Прим. И. А. Бунина.*)

до Ростова-на-Дону. Это было утром 31 октября, а 1 ноября Александра Львовна уже телеграфировала Черткову:

«Вчера слезли Астапово, сильный жар, забытье, утром температура нормальная, теперь снова озноб. Ехать немыслимо».

В это же утро, говорит она дальше, отец продиктовал мне следующие мысли в свою записную книжку:

«Бог есть неограниченное Все, человек есть только ограниченное проявление Бога».

Она записала это и ждала, что он будет диктовать дальше, но он сказал:

— Больше ничего.

Он полежал некоторое время молча, потом снова подозвал ее:

— Возьми записную книжку и перо и пиши:

«Или еще лучше так: бог есть то неограниченное Все, чего человек сознает себя ограниченной частью. Истинно существует только бог. Человек есть проявление его в веществе, времени и пространстве. Чем больше проявление бога в человеке (жизнь) соединяется с проявлением (жизнями) других существ, тем больше он существует. Соединение этой своей жизни с жизнями других существ совершается любовью.

Бог не есть любовь, но чем больше любви, тем больше человек проявляет бога, тем больше истинно существует.

Бога мы познаем только через сознание его проявления в нас. Все выводы из этого сознания и руководство жизни, основанное на нем, всегда вполне удовлетворяют человека и в познании самого бога, и в руководстве в своей жизни, основанном на этом сознании».

Через некоторое время он снова позвал ее:

— Теперь я хочу написать Тане и Сереже.

Несколько раз он должен был прекращать диктовать из-за подступавших к горлу слез, и минутами она едва могла расслышать его тихий, тихий голос:

— «Милые мои дети, Таня и Сережа!

Надеюсь и уверен, что вы не попрекнете меня за то, что я не призвал вас. Призвание вас одних без мама́ было бы великим огорчением для нее, а также и для других братьев. Вы оба поймете, что Чертков, которого я призвал, находится в исключительном положении по отношению ко мне. Он посвятил свою жизнь на служение тому делу, которому я служил последние сорок лет моей жизни. Дело это не столько мне дорого, сколько я признаю — ошибаюсь или нет — его важность для всех людей и для вас в том числе.

Благодарю вас за ваше хорошее отношение ко мне. Не знаю, прощаюсь ли или нет, но почувствовал необходимость высказать то, что высказал.

Еще хотел прибавить тебе, Сережа, совет о том, чтобы ты подумал о своей жизни, о том, *кто ты, что ты*, в чем смысл человеческой жизни и как должен проживать ее всякий разумный человек. Те усвоенные тобой взгляды дарвинизма, эволюции и борьбы за существование не объяснят тебе смысл твоей жизни и не дадут руководства в поступках; а жизнь без объяснения ее значения и смысла и без вытекающего из нее неизменного руководства есть жалкое существование. Подумай об этом. Любя тебя, вероятно, накануне смерти, говорю это.

Прощайте, старайтесь успокоить мать, к которой я испытываю самое искреннее чувство сострадания и любви. Любящий вас отец Лев Толстой».

— Ты им передай это после моей смерти, — сказал он Александре Львовне и опять заплакал.

Утром 2 ноября приехал Чертков, и, взволнованный этим, он опять плакал. Положение же его становилось все серьезнее. Несколько раз он отхаркивал кровяную мокроту, жар у него все повышался, сердце работало слабо, с перебоями, и ему давали шампанское. Днем он сам несколько раз ставил себе градусник и смотрел температуру. К вечеру состояние его еще ухудшилось. Он громко стонал, дыханье было частое и тяжелое... Он снова попросил градусник и, когда вынул его и увидал 39,2, громко сказал:

— Ну, мать, не обижайтесь!

В восемь часов вечера приехал Сергей Львович. Он опять очень взволновался, увидав его, когда же Сергей Львович вышел от него, позвал Александру Львовну:

— Сережа-то каков!

— А что, папаша?

— Как он меня нашел! Я очень рад, он мне приятен... Он мне руку поцеловал, — сквозь рыдания с трудом проговорил он.

Третьего ноября Чертков читал ему газеты и прочел четыре полученных на его имя письма. Он их внимательно выслушал и, как всегда это делал дома, просил пометить на конвертах, что с ними делать.

Ночь с 3 на 4 была одна из самых тяжелых. Вечером, когда оправляли его постель, он сказал:

— А мужики-то, мужики как умирают! — и опять заплакал.

Часов с одиннадцати начался бред. Он опять просил записывать за ним, но говорил отрывочные, непонятные слова. Когда он просил прочитать записанное, терялись и не знали, что читать. А он все просил:

— Да прочтите же, прочтите!

Утро 4 ноября было тоже очень тревожно. Появился еще новый зловещий признак: он, не переставая, перебирал пальцами, брал руками один край одеяла и перебирал его пальцами до другого края, потом обратно, и так без конца. Иногда он старался что-то доказать, выразить какую-то свою неотвязную мысль.

— Ты не думай, — сказала ему Александра Львовна.

— Ах, как не думать, надо, надо думать!

Так весь день он старался сказать что-то, метался и страдал.

К вечеру снова начался бред, и он умолял понять его мысль, помочь ему.

— Саша, пойди, *посмотри, чем это кончится*, — говорил он.

Она старалась отвлечь его:

— Может быть, ты хочешь пить?

— Ах, нет, нет... Как не понять... Это так просто!

И снова бредил:

— Пойдите сюда, чего вы боитесь, не хотите мне помочь, я всех прошу...

— *Искать, все время искать...*

В комнату вошла Варвара Михайловна. Он привстал на кровати, протянул руки и громким, радостным голосом, глядя на нее в упор, крикнул (приняв ее за умершую дочь):

— Маша, Маша!

Всю ночь Александра Львовна не отходила от него. Он все время метался, охал. Снова просил записывать. Записывать было нечего, а он все просил:

— Прочти, что я написал! Что же вы молчите? Что я написал?

Все время старались дежурить возле него по двое, но тут случилось, что Александра Львовна осталась одна. Казалось, он задремал. Но вдруг сильным движением он привстал и стал спускать ноги с постели. Она быстро подошла:

— Что тебе, папаша?

— *Пусти, пусти меня*!

И из всех сил рвался вперед:

— Пусти, пусти, ты не смеешь держать, пусти!

В 10 часов утра 6 ноября приехали московские врачи.

Увидав их, он сказал:

— Я их помню...

В этот день он точно прощался со всеми. Ласково посмотрел на Душана Петровича и с глубокой нежностью сказал:

— Милый Душан, милый Душан!

Меняли простыни, я поддерживала ему спину, — говорит Александра Львовна. — И вот я почувствовала, что его рука ищет мою руку. Я подумала, что он хочет опереться на меня, но он крепко пожал мне руку один раз, потом другой. Я сжала его руку и припала к ней губами, стараясь сдержать рыдания. В этот день отец сказал нам слова, которые заставили нас вспомнить, что жизнь для чего-то послана нам и что мы обязаны, независимо от каких-либо обстоятельств, продолжать эту жизнь, по мере слабых сил своих стараясь служить Пославшему нас и людям. Кровать стояла среди комнаты. Мы сидели около. Вдруг отец сильным движением привстал и почти сел. Я подошла:

— Поправить подушки?

— Нет, — сказал он, твердо и ясно выговаривая каждое слово, — нет. Только одно советую помнить, что на свете есть много людей, кроме Льва Толстого, а вы смотрите только на одного Льва.

Деятельность сердца у него очень ослабела, пульс едва прощупывался, губы, нос и руки посинели и лицо как-то сразу похудело, точно сжалось. Дыханье было едва слышно...

Вечером, когда все разошлись спать, я тоже заснула. Меня разбудили в десять часов. Отцу стало хуже. Он стал задыхаться. Его приподняли на подушки, и он, поддерживаемый нами, сидел, свесив ноги с кровати.

— Тяжело дышать, — хрипло, с трудом проговорил он.

Всех разбудили. Доктора давали ему дышать кислородом... После впрыскивания камфары ему как будто стало лучше. Он позвал брата Сережу:

— Сережа!

И когда Сережа подошел, сказал:

— Истина... Я люблю много... как они...

Это были его последние слова.

И вот еще что говорил он в бреду 6 ноября (по свидетельству Сергея Львовича), — то, на что я уже указывал:

— Все Я... все проявления... довольно проявлений... вот и все...

В этот день в Астапово приехал о. Варсонофий, старец из Оптиной Пустыни. Впоследствии говорили, будто этот приезд

состоялся «по приказу из Петербурга». Говорили неправду. Приехав, о. Варсонофий просил допустить его к умирающему, получил отказ и написал Александре Львовне письмо: «Почтительно благодарю Ваше сиятельство за письмо Ваше, в котором пишете, что воля родителя Вашего для Вас и для всей семьи Вашей поставляется на первом плане. Но Вам, графиня, известно, что граф выражал сестре своей, а Вашей тетушке, монахине матери Марии, желание видеть нас и беседовать с нами». Приказ из Петербурга выходит, таким образом, выдумкой. Если бы он не выражал сестре желания видеть старцев, о. Варсонофий не мог бы ссылаться на нее. Но что было бы, если бы Александра Львовна допустила его к отцу? Можно предположить: примирение умирающего с церковью. Но разве это уничтожило бы смысл его бредовых слов, слышанных Сергеем Львовичем?

Смысл этот слишком велик, уничтожить его не могло ничто.

«Слова умирающего особенно значительны», — как однажды сказал он в своем дневнике.

IV

До сих пор помню тот день, тот час, когда ударил мне в глаза крупный шрифт газетной телеграммы:

«Астапово, 7 ноября. В 6 часов 5 минут утра Лев Николаевич Толстой тихо скончался».

Газетный лист был в траурной раме. Посреди его чернел всему миру известный портрет старого мужика в мешковатой блузе, с горестно-сумрачными глазами и большой косой бородой. Был одиннадцатый час мокрого и темного петербургского дня. Я смотрел на портрет, а видел светлый, жаркий кавказский день, лес над Тереком и шагающего в этом лесу худого загорелого юнкера «в белой папашке с опустившимся пожелтевшим курпеем, в белой, грязной, с широкими складками черкеске» и с винтовкой в руке:

— На другой день Оленин пошел один на то место, где он со стариком спугнул оленя... День был совершенно ясный, тихий, жаркий. Утренняя свежесть даже в лесу пересохла, и мириады комаров буквально облепляли лицо, спину и руки... Эти мириады насекомых так шли к этой дикой, до безобразия богатой растительности, к этой бездне зверей и птиц, наполняющих лес, к этой темной зелени, к этому пахучему, жаркому воздуху, к этим канавкам мутной воды, везде просасывающейся из Терека и бульбулькающей где-

нибудь под нависшими листьями... Обойдя то место, где он вчера нашел зверя, и ничего не встретив, он захотел отдохнуть... Он отыскал вчерашние следы оленя, подобрался под куст в чащу, в то самое место, где вчера лежал олень, и улегся у его логова... И вдруг на него нашло такое странное чувство беспричинного счастья и любви ко всему, что он, по старой детской привычке, стал креститься и благодарить кого-то. Ему вдруг с особенной ясностью пришло в голову, что вот я, Дмитрий Оленин, такое особенное ото всех существо, лежу теперь один, бог знает где, в том месте, где жил олень, старый олень, красивый, никогда, может быть, не видавший человека... Около меня, пролетая между листьями, которые кажутся им огромными островами, стоят в воздухе и жужжат комары: один, два, три, четыре, сто, тысяча, миллион комаров, и каждый из них такой же особенный от всех Дмитрий Оленин, как и я сам... И ему ясно стало, что он нисколько не русский дворянин, член московского общества, друг и родня того-то и того-то, а просто такой же комар или такой олень, которые живут теперь вокруг него. «Так же, как они, как дядя Ерошка, поживу и умру. И правду он говорит: только трава вырастет». — «Да что же, что трава вырастет? — думал он дальше. — Все-таки надо жить, надо быть счастливым... Все равно, что бы я ни был: такой же зверь, как и все, на котором трава вырастет и больше ничего, или я рамка, в которой вставилась часть единого божества, все-таки надо жить наилучшим образом. Как же надо жить, чтобы быть счастливым, и отчего я не был счастлив прежде?» И он стал вспоминать свою прошедшую жизнь, и ему стало гадко на самого себя... И вдруг ему как будто открылся новый свет. «Счастие, вот что, — сказал он себе, — счастие в том, чтобы жить для других... в человеке вложена потребность счастия; стало быть, оно законно. Удовлетворяя его эгоистически, то есть отыскивая для себя богатства, славы, удобства жизни, любви, может случиться, что обстоятельства так сложатся, что невозможно будет удовлетворить этому желанию. Следовательно, эти желания незаконны, а не потребность счастия незаконна. Какие же желания всегда могут быть удовлетворены, несмотря на внешние условия? Какие? Любовь, самоотвержение!» Он так обрадовался и взволновался, открыв эту, как ему казалось, новую истину, что вскочил и в нетерпении стал искать, для кого бы ему поскорее пожертвовать собой, кому бы сделать добро, кого бы любить...»

Софья Андреевна говорила:

— Сорок восемь лет прожила я с Львом Николаевичем, а так и не узнала, что он был за человек!

Многообразие этого человека всегда удивляло мир. Но вот тот образ, что вспомнился мне 7 ноября четверть века тому назад, — этот кавказский юнкер с его мыслями и чувствами среди «дикой, до безобразия богатой растительности» над Тереком, среди «бездны зверей и птиц», наполняющих эту растительность, и несметных комаров в воздухе, каждый из которых был будто бы «такой же особенный от всех», как и сам юнкер ото всего прочего: не основной ли это образ? Юнкер, думая о своей «особенности», с радостью терял чувство ее: «Ему ясно стало, что он нисколько не русский дворянин, член московского общества, друг и родня того-то и того-то, а просто такой же комар или такой же олень, которые живут теперь возле него. Так же, как они, как дядя Ерошка, поживу и умру. И правду он говорит: только трава вырастет...» Это стремление к потере «особенности» и тайная радость потери ее — основная толстовская черта. «Слова умирающих особенно значительны». И, умирая, он, величайший из великих, говорил: «На свете много Львов, а вы думаете об одном Льве Толстом!» Разве это не то же, что чувствовал и говорил себе кавказский юнкер про свою «особенность»? Радовало его это и впоследствии — взять Наполеона, Пьера, князя Андрея и разоблачить мнимую высоту их положений и самооценок*, лишить их «особенности», показать на них, что сущность жизни вне временных и пространственных форм, смешать их с комарами и оленями; сделать это и с самим собою. Ни один олень, ни один дядя Ерошка не защищал свою «особенность» так, как он, не утверждал ее с такой страстью и силой, — достаточно вспомнить хоть то, как зоологически ревнив он был в любви. И вместе с тем всю жизнь разрушал ее, и чем дальше, тем все страстнее, все сильнее. Как могло быть иначе? Как не разрушать, если все-таки не

* Умирающий кн. Андрей, Пьер в плену у французов, о. Сергий, сам Толстой... Наиболее заветной художественной идеей его было, думается, это: взять человека на его высшей мирской ступени (или возвести его на такую ступень) и, поставив его перед лицом смерти или какого-либо великого несчастия, показать ему ничтожество всего земного, разоблачить его собственную мнимую высоту, его гордыню, самоуверенность... Отсюда и «постоянное стремление его видеть и развенчивать то, что таится в душе человека под всеми формами блестящей внешности». Почему так преклонялся он перед «народом»? Потому, что видел его простоту, смирение; потому что миллионы его, этого простого, вечно работающего народа, жили и живут смиренной, не рассуждающей верой в Хозяина, пославшего их в мир с целью, недоступной нашему пониманию. (*Прим. И. А. Бунина.*)

дано было кавказскому юнкеру в его дальнейшей долгой жизни идти к блаженному, звериному «поживу и умру, и только трава вырастет»? Как не разрушать, если то и дело становится «гадко на самого себя», если «счастие в том, чтобы жить для других»?

— Он так обрадовался и взволновался, открыв эту, как ему казалось, новую истину, что вскочил и в нетерпении стал искать, для кого бы ему поскорее пожертвовать собой...

Сколько раз в жизни открывал он «эту, как ему казалось, новую истину»? Истина же эта роковая. С ней нельзя быть оленем или дядей Ерошкой. «Все равно, что бы я ни был: такой же зверь, как и все, или же я рамка, в которой вставилась часть единого божества...» Но в том и беда, что совсем не все равно, если уже сознаешь себя такой «рамкой». И олень, и дядя Ерошка тоже «рамки», но думают ли они об этом! Олени и дяди Ерошки, каждый в своей «особенности», в своей «самости», ничуть не стремятся искать, «для кого бы поскорей пожертвовать собой»*. И поэтому сугубо роковой путь жизни был уготован тому, кто был рожден и оленем и дядей Ерошкой, а вместе с тем — Дмитрием Олениным, который никак не мог умереть так, чтобы только трава выросла. «Некоторые живут, не замечая своего существования». Не некоторые, — их столько же, сколько на земле комаров и оленей. А сколько замечающих? Он же был из тех, что слишком замечают.

И нельзя было ему умереть, как оленю. Надлежало умереть или как Ивану Ильичу, как князю Серпуховскому из «Холстомера», в лучшем случае, как самому Холстомеру — или же с совершенно несомненным чувством то ли слов Христа: «Царство мое не от мира сего, верующий в меня не увидит смерти вовек», то ли слов индийской мудрости: «Отверзите уши ваши, освобождение от смерти найдено! Освобождение — в разоблачении духа от его материального одеяния, в воссоединении Я временного с вечным Я». Чувство же это приобретается страшной ценой. И вот в 6 часов 5 минут утра 7 ноября 1910 года кончилась на станции Астапово не только жизнь одного из самых необыкновенных людей, когда-либо живших на свете, — кончился еще и некий необыкновенный человеческий

* «Чем больше он думал в те часы страдальческого уединения и бреда, которые он провел после своей раны, тем более, сам не чувствуя того, отрекался от земной жизни. Все, всех любить, всегда жертвовать собой для любви значило — никого не любить, значило — не жить этой земной жизнью...» (*Прим. И. А. Бунина.*)

подвиг, необыкновенная по своей силе, долготе и трудности борьба за то, что есть «освобождение», есть исход из «Бывания в Вечное», говоря буддийскими словами, есть путь «в жизнь», говоря словами Евангелия, по удивительному совпадению оказавшимися в сборнике «Мысли мудрых людей на каждый день», который он составлял в свои последние годы, как раз на странице, отведенной седьмому дню ноября:

— Входите тесными вратами: ибо широки врата и пространен путь, ведущие в погибель; и многие идут ими: ибо тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их.

В этот сборник он включал наиболее трогавшие его, наиболее отвечавшие его уму и сердцу «мысли мудрых людей» разных стран, народов и времен, равно как и некоторые свои собственные. «Во все века лучшие, то есть настоящие люди думали об этом», — писал он в предисловии к нему. «Об этом», — это о том, о чем он и сам думал всю жизнь, даже и тогда, когда так страстно думал совсем о другом: о том, «чем все это кончится», что надо «искать, все время искать». Во всем и всегда удивительный, удивителен он был и той настойчивостью, с которой он начал говорить «об этом» с самых ранних лет, а впоследствии говорил с той одержимостью однообразия, которую можно видеть или в житиях святых, или в историях душевнобольных. Есть предание, что Иоанн, любимый ученик Христа, неустанно говорил в старости только одно: «Дети, любите друг друга». Однообразие, с которым говорил Толстой, одно и то же во всех своих последних писаниях и записях, подобно тому однообразию, которое свойственно древним священным книгам Индии, книгам иудейских пророков, поучениям Будды, сурам Корана:

— Материя для меня самое непонятное, — то и дело повторял он на все лады.

— Что я такое? *Разум ничего не говорит на эти вопросы сердца. Отвечает на это только такое-то чувство в глубине сознания.* С тех пор, как существуют люди, они *отвечают на это не словами, то есть орудием разума,* частью проявления жизни, а всей жизнью.

— Избави Бог жить только для этого мира. Чтобы жизнь имела смысл, *надо, чтобы цель ее выходила за пределы постижимого умом человеческим.*

— Дорого и радостно общение с людьми, которые в этой жизни смотрят за пределы ее.

— Бог для меня есть то, к чему я стремлюсь, — то, в стремлении к чему и состоит моя жизнь. Бог поэтому есть для меня непременно такой, что я его понять и назвать не могу.

— Ехал наверху на конке, глядел на дома, вывески, лавки, извозчиков, прохожих, проезжих и вдруг так ясно стало, что весь этот мир с моей жизнью в нем есть только одна из бесчисленных возможностей других миров и других жизней и для меня есть только одна из бесчисленных стадий, через которую я прохожу (как мне кажется, во времени).

— Наши постоянные стремления к будущему не есть ли признак того, что жизнь есть расширение сознания? Постепенно сознаешь, что нет ни материального, ни духовного, а есть только мое прохождение через пределы вечного, бесконечного, которое есть Все само в себе и вместе с тем Ничто (Нирвана).

— Мое Я стремится расшириться и в стремлении сталкивается со своими пределами в пространстве... Кроме сознания пределов в пространстве, есть еще сознание себя — того, что сознает пределы. Что есть это сознание? Если оно чувствует пределы, то это значит, что оно по существу своему беспредельно и стремится выйти из этих пределов.

— Жизнь, которую я сознаю, есть прохождение духовной и неограниченной (божественной) сущности через ограниченное пределами вещество.

— Жизнь человека выражается в отношении конечного к бесконечному.

— Бесконечное, которого человек сознает себя частью, и есть Бог.

— Если иногда удается забыть о людях, испытываешь какой-то экстаз свободы.

— Если бы я был один, я был бы юродивым, то есть ничем бы не дорожил в жизни...

— Надо и в писании быть юродивым...

Он с радостью говорил своей старшей дочери Татьяне Львовне незадолго до бегства из Ясной Поляны, что он мечтает поселиться в ее деревне, где его никто не знает: «Я там могу ходить и просить под окнами милостыню». Бесконечно знаменательны эти слова, — эта мечта быть юродивым, ничем не дорожащим в жизни и всеми презираемым, стать никому не известным, нищим, смиренно просящим с сумой за плечами кусок хлеба под мужицкими окнами. Ужели и впрямь, как думают это еще и до сих пор, так долго

стремился он убежать из Ясной Поляны только ради освобождения себя от ссор с детьми и женой? Ведь еще юнкером испытывал он этот «экстаз свободы», счастье думать, что нисколько он не русский дворянин, член московского общества, друг и родня того-то и того-то, а просто «такой же комар или такой же олень». Юнкер Оленин восторженно терял свою «особенность». Восторженно мечтал и о том, чтобы прославить ее на весь мир. А чем кончил?

— Был человек в земле Уц, Иов имя его... И родилось у него семь сыновей и три дочери. И было скота у него семь тысяч мелкого скота, и три тысячи верблюдов, и пятьсот пар волов, и пятьсот ослиц, и прислуги весьма много; и был человек тот знатнее всех сынов Востока...

И вот, во всем был «разорен» тот человек, «и вот, ветер великий поднялся со стороны пустыни, и обхватил четыре угла дома, и тот упал на отроков, и они умерли...»

Толстой сам себя разорял целыми десятилетиями и наконец разорил полностью — и самого себя, и весь «дом» свой, в крушении которого было нечто тоже библейское: словно и впрямь «ветер великий поднялся со стороны пустыни, и обхватил четыре угла дома, и тот упал на отроков» — и где они теперь, эти рассеянные по всему миру «отроки», из которых один (недавно умерший в Америке Илья Львович) погиб не только от болезни, но и от полной нищеты! Толстой сам призывал и наконец призвал на свой «дом» и на самого себя этот «великий ветер» тоже по воле того, покорность которому стала в некий срок альфой и омегой всей его жизни.

— Простри руку твою на раба твоего Иова и коснись всего, что у него.

И простер и коснулся, — «всего, кроме души».

— И встал Иов, и разодрал верхнюю одежду свою, и остриг голову свою, и пал на землю, и поклонился, и сказал: наг вышел я из чрева матери моей, наг и возвращусь туда.

Наг, как во чреве матери, был и тот, кто «тихо скончался» под чьим-то чужим кровом, на какой-то дотоле никому не ведомой железнодорожной станции.

Думая о его столь долгой и столь во всем удивительной жизни, высшую и все разъясняющую точку ее видишь как раз тут — в его бегстве из Ясной Поляны и в его кончине на этой станции. Думая об этом и о долгих годах великих страданий, этому предшествовавших, никак не избегнешь мысли о путях Иова, Будды, даже самого сына человеческого.

— Паки и паки берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему: все это отдам тебе, если, падши, поклонишься мне. Но Иисус говорит ему: отойди от меня, Сатана.

Кто был так искушаем, как Толстой, кто так любил «царства мира и славу их»?

— Боже мой, — думал князь Андрей в ночь перед Аустерлицким сражением, — что же мне делать, ежели я ничего не люблю, как только славу, любовь людскую? Отец, сестра, жена, все самые дорогие мне люди — я всех их отдам за минуту славы, торжества над людьми, за любовь к себе людей, которых я не знаю!

«Врата, ведущие в погибель», были открыты перед Толстым сугубо широко, «торжества над людьми» он достиг величайшего. «Ну, и что ж? Что потом?»* Достигнув, он «встал, и взял черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел *вне селения...*»

Так же, как Иов, — и как Екклезиаст, как Будда — Толстой был обречен на «разорение» с самого рождения своего. Вся жизнь таких людей идет в соответствии с их обреченностью: все «дела и труды» их, все богатства и вся слава их — «суета сует»; в соответствии и кончается: черепица, пепел, «вне селения», роща Уравеллы, Астапово... «Тот, кто все создает по замыслу своему», одаряет их тем щедрее, чем больше должно быть в некий срок их «разорение», заставляет трудиться и стяжать тем страстнее, чем отчаяннее будут их проклятия всем земным трудам и стяжаниям. Вот у одного семь сыновей, три дочери, сотни рабов и рабынь, тысячи скота и первенство среди всех сынов Востока; у другого — в жилах царская кровь, высшая родовитость, как телесная, так и духовная, высшая сила и ловкость и «четыре дворца по числу времен года»; третий — сын Давидов, царь над Израилем и великий «делатель»: «Я предпринял большие дела — построил домы себе, насадил виноградники, устроил рощи и сады, сделал водоемы, собрал золота, серебра и драгоценностей от царей и областей...» И у всех общий конец: «Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем?» — спрашивает один, столь много под солнцем потрудившийся. «Наг вышел я из чрева матери моей, наг и возвращусь

* «Ну, хорошо, у тебя будет шесть тысяч десятин в Самарской губернии, триста голов лошадей. Ну и что же из этого? Что потом? Ну, хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире — ну и что ж? Что потом?» («Исповедь»). (*Прим. И. А. Бунина.*)

туда», — говорит другой. «Царство мира сего и царство смерти — одно: это искуситель Мара, он же есть смерть», — говорит третий. И муки ада испытывает четвертый, вспоминая свою жизнь:

— Я испытываю муки ада: вспоминаю всю мерзость моей прежней жизни...

Какая «мерзость», какие смертные грехи числились за ним? *Только те, что называются «грехами святых»*, всегда считавших себя самыми страшными грешниками. Но все равно: сколько лет и с какой ожесточенностью скоблил он черепицей проказу своих грехов («не было ни одного самого страшного преступления, которого бы я не совершал») и трепетал, как Иов.

— Ужасное, чего я ужасался, постигло меня; и чего я боялся, приходит ко мне.

Толстой говорил почти теми же словами:

— Я качусь, качусь под гору смерти. А я не хочу смерти, я хочу и люблю бессмертие. Я люблю мою жизнь — семью, хозяйство, искусство...

— Как мне спастись? Я чувствую, что погибаю, люблю жизнь и умираю — как мне спастись?

«И счастливый семьянин, здоровый человек, Левин был несколько раз так близок к самоубийству, что прятал шнурок, чтобы не повеситься, и боялся ходить с ружьем, чтобы не застрелиться».

Левин тоже погибал. «Но Левин не повесился, и не застрелился, и продолжал жить». Почему продолжал? Потому, что была на то воля Хозяина, которую он, невзирая ни на что, непрестанно чувствовал в себе так же сильно, как его работник Федор. Воля (стремление) к жизни (земной, временной) — в теле. И Левин уже и тогда остро ненавидел временами тело, — и свое и чужое, — отсюда и было ему искушение повеситься или застрелиться. Но уже и тогда чувствовал он, что не будет это спасением для него. Уже и тогда слышал в себе «голос Высшего Я». Зачем надо было продолжать жить? Затем, что этот голос говорил, что нужно «спастись» при жизни. А в чем спасение? Не в убийстве тела, не в выходе из него «не готовым», а в преодолении его и в потере «всего, кроме души».

V

После его похорон Ясная Поляна быстро пустела.

В доме еще оставались некоторые родные и близкие, но и они уже разъезжались один за другим; и Софья Андреевна сказала

Ксюнину про этот пустеющий дом, куда она вошла когда-то почти девочкой и где провела потом целых сорок восемь лет:

— Через три дня дом совсем мертвый будет... Все уедут...

Тот, с кем она когда-то вошла в этот дом, был в ту пору во всем расцвете всех своих беспримерных сил и любил ее так, что говорил: «Я счастлив, как один из миллиона». Он писал тогда в своем дневнике:

— Люблю я ее, когда ночью или утром я проснусь и вижу: она смотрит на меня и любит... Люблю я, когда она сидит близко ко мне, и мы знаем, что любим друг друга, как можем; и она скажет: «Левочка!» — и остановится: — «Отчего трубы в каминах проведены прямо?» или: «Почему лошади не умирают долго?» Люблю, когда мы долго одни — и «что нам делать?» — «Соня, что нам делать?» — Она смеется. Люблю, когда она рассердится на меня и вдруг, в мгновение ока у ней мысль и слово, иногда резкое: «Оставь! скучно!» Через минуту она уже робко улыбается мне. Люблю, когда она девочка в желтом платье и выставит нижнюю челюсть и язык; люблю, когда я вижу ее голову, закинутую назад, и серьезное, и испуганное, и детское, и страстное лицо...

Писал в письмах к друзьям:

— Пишу и слышу наверху голос жены, которую я люблю больше всего на свете. Я дожил до 34 лет и не знал, что можно так любить и быть так счастливым...

Вспоминая то время, когда он начал «Войну и мир», Софья Андреевна сказала:

— Приходит однажды ко мне в восторге, возбужденный, и говорит: «Какой великолепный тип дипломата я сейчас представляю себе!» А я спрашиваю его: «Левочка, а что такое дипломат?» Мне ведь было тогда всего двадцать лет...

— Я никогда никого, кроме тебя, не любил, говорил мне всю жизнь Лев Николаевич. Но ведь не так легко было сделать счастливым Толстого! Я помню, как однажды наш друг поэт Фет сказал про меня: «Софья Андреевна по ножу ходит». По ножу я и ходила всю жизнь...

Он был счастлив, «как один из миллиона». Что же, однако, начал он писать в своем дневнике вскоре после женитьбы и первого упоения хозяйством?

— Ужасно! Я игрок и пьяница. Я в запое хозяйства и погубил невозвратимые девять месяцев, которые я сделал чуть ли не худшими

в своей жизни... Я за эти девять месяцев самый ничтожный, слабый, бессмысленный и пошлый человек...

Он заводит большой пчельник и просиживает там часами, наблюдая, изучая жизнь пчел, разводит племенных овец, уверяет себя, что «не может быть счастлив в жизни», если не достанет себе японских поросят, разбивает плодовый сад, сажает леса елок, сажает в огромном до смешного количестве капусту, строит винокуренный завод, с необыкновенной страстью предается полевому хозяйству, каждую свободную минуту урывает лишь для своей охотничьей страсти, ломает себе однажды на бешеной скачке за зайцем руку и пишет жене из Москвы, где лечится: «Ты говоришь — я забуду (тебя). Ни на минуту, особенно с людьми. На охоте я забываю, помню об одном дупеле: но с людьми, при всяком столкновении, слове, я вспоминаю о тебе... Я тебя так сильно всеми любвями люблю...» Он пишет своему другу Александре Андреевне Толстой: «Я никогда (как теперь) не чувствовал свои умственные и даже все нравственные силы столько свободными и столько способными к работе. И работа эта есть у меня. Работа эта — роман из времени 1810 и 20-х годов, которые занимают меня вполне... Я теперь писатель всеми силами своей души, и пишу и обдумываю, как еще никогда не писал и не обдумывал. Я счастливый и спокойный муж и отец, не имеющий ни перед кем тайны и никакого желания, кроме того, чтобы все шло по-прежнему...» В этом романе, — это была «Война и мир», — тоже прославляется семейное счастье, семейные добродетели, здоровые, простые человеческие устои; но точно ли, что не имел он в ту пору «ни перед кем никакой тайны»? В своих дневниках он пишет в эту пору нечто очень тайное:

— Ужасно, страшно, бессмысленно связать свое счастье с материальными условиями — жена, дети, здоровье, хозяйство, богатство...

— Где я, тот я, прежний, которого я сам любил и знал, который выходит иногда наружу весь и меня самого радует и пугает? Я маленький и ничтожный. И я такой с тех пор, как женился на женщине, которую люблю...

Эта «тайна» прорывается иногда и в жизни. Сестра Софьи Андреевны рассказывает в своих воспоминаниях, что произошло однажды с этим счастливым мужем и хозяином:

«Соня сидела наверху у себя в комнате на полу у ящика комода и перебирала узлы с лоскутьями. (Она была в интересном положении.) Лев Николаевич, войдя к ней, сказал:

— Зачем ты сидишь на полу? Встань!

— Сейчас, только уберу все.

— Я тебе говорю, встань сейчас, — громко закричал он и вышел к себе в кабинет.

Соня не понимала, за что он так рассердился. Это обидело ее, и она пошла в кабинет. Я слышала из своей комнаты их раздраженные голоса, прислушивалась и ничего не понимала. И вдруг я услыхала падение чего-то, стук разбитого стекла и крик:

— Уйди, уйди!

Я отворила дверь. Сони уже не было. На полу лежали разбитая посуда и термометр, висевший всегда на стене. Лев Николаевич стоял посреди комнаты бледный, с трясущейся губой. Глаза его глядели в одну точку... Я побежала к Соне. Она была очень жалка. Прямо как безумная, все повторяла: «За что? Что с ним?» Она рассказала мне уже немного погодя:

— Я пошла в кабинет и спросила его: «Левочка, что с тобой?» — «Уйди, уйди!» — злобно закричал он. — Я подошла к нему в страхе и недоумении, он рукой отвел меня, схватил поднос с кофе и чашкой и бросил на пол...

Так мы с Соней никогда и не могли понять, что вызвало в нем такое бешенство...»

«Соня, что нам делать?» Это значило: слишком хорошо нам с тобой, слишком счастливы мы! А через сорок восемь лет после того «Соня» жила в вагоне на запасных путях на станции Астапово, и ее не пускали к тому, у кого она когда-то спрашивала про камин, про лошадей, и она, опираясь на руку кого-нибудь из сыновей, ходила под те завешанные окна, за которыми он умирал, приникала к ним, стараясь хоть что-нибудь рассмотреть за занавеской, потом тихо брела назад в свой вагон, чтобы опять сидеть и плакать о себе и о «Левочке»... Впоследствии она рассказывала:

— Пустили меня к нему, когда он уже едва дышал, неподвижно лежа навзничь, с закрытыми глазами. Я тихонько на ухо говорила ему с нежностью, надеясь, что он еще слышит, что я все время была тут, в Астапове, что любила его до конца... Не помню, что я ему говорила, но два глубоких вздоха, как бы вызванные страшным усилием, отвечали мне на мои слова, а затем все стихло...

Теперь наступали уже самые последние дни всей долгой прежней жизни Ясной Поляны:

— Через три дня дом совсем мертвый будет... Все уедут...

Этот белый дом со стеклянной верандой и низким крыльцом уже начинал походить на музей, писал Ксюнин.

В опустевших комнатах смотрят со стен его проникающие в душу глаза.

В кабинете и в спальне все застыло с той ночи, когда он ушел, в полной неприкосновенности: подсвечник с догоревшей свечой и розеткой, окапанной стеарином, два яблока, подушка на диване, где он отдыхал, кресло, на котором около письменного стола любила сидеть Софья Андреевна, шахматы, три его карточки в разных возрастах и открытый на дне его смерти «Круг чтения».

— Седьмого ноября. «Смерть есть начало другой жизни». Монтень.

На постели в спальне его любимая подушечка, вышитая монахиней Марией. Рядом на столике звонок, круглые старинные часы, свеча, спички, несколько коробочек с лекарствами. Над постелью портрет Татьяны Львовны. В одном углу умывальник, в другом круглый столик с графином воды, на полу седло. По стенам портреты — его отца в военной форме, его умершей дочери Марии и два портрета Софьи Андреевны; на одном она, еще совсем юная, удивительно хороша. В простенке между окнами зеркало, из окон, по широкой аллее, открывается вид в сад, направо на поляне видна ель... Эта комната особенно мертва, и в ней, около постели, большой лавровый венок с красными лентами и надписью:

— Огласившему пустыню жизни криком «Не могу молчать».

А в маленькой гостиной рядом с кабинетом лежит еще одна открытая книга — «Мысли мудрых людей на каждый день»:

— Седьмого ноября. «Входите тесными вратами: ибо широки врата и пространен путь, ведущие в погибель; и многие идут ими: ибо тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». Матфея, VII.

В последние годы своей жизни Софья Андреевна казалась высокой, стала худа и немного сгорбилась, была тиха, слаба. И все-таки каждый день за версту ходила туда — на могилу «Левочки», вечным сном покоившегося в парке на краю оврага, под старыми развесистыми деревьями: летом и осенью каждый день носила на могилу свежие цветы, подолгу сидела над ней на скамейке — и, может быть, вспоминала: «Соня, что нам делать!»

Она встретила меня, говорит один из посетивших ее в ту пору, устало и со спокойным достоинством, беседуя, не улыбалась, не возвышала голоса. И это тогда сказала она:

— Сорок восемь лет прожила я со Львом Николаевичем, а так и не узнала, что он был за человек!

Теперь, когда со времени его смерти прошла уже целая четверть века, и ко всем прежним бесчисленным свидетельствам и суждениям о нем прибавилось еще великое множество новых, вопросы, «что он был за человек», почему Софья Андреевна «всю жизнь ходила по ножу» и что заставило его бежать, кажутся уже вполне разрешенными. Но это только так кажется.

— Странно и страшно подумать, что от рождения моего до трех лет, в то время, когда я кормился грудью, когда меня отняли от груди, когда я стал ползать, ходить, говорить, сколько бы я ни искал в своей памяти, я не могу найти ни одного впечатления... Когда же я начался? Когда начал жить? И почему мне радостно представлять себя тогда, а бывало страшно, как и теперь страшно многим, представлять себя тогда, когда я опять вступлю в то состояние смерти, от которого не будет воспоминаний, выразимых словами? Разве я не жил тогда, когда учился смотреть, слушать, понимать, говорить, когда спал, сосал грудь и целовал грудь и смеялся и радовал мою мать? Я жил, и блаженно жил. Разве не тогда я приобретал все то, чем я теперь живу, и приобретал так много, так быстро, что во всю остальную жизнь не приобрел и одной сотой того? От пятилетнего ребенка до меня — только шаг. От новорожденного до пятилетнего — страшное расстояние. От зародыша до новорожденного — пучина. А от несуществования до зародыша отделяет уже не пучина, а непостижимость. Мало того, что пространство, и время, и причина суть формы мышления, и что сущность жизни вне этих форм, но вся жизнь наша есть (все) большее и большее подчинение себя этим формам и потом опять освобождение от них...

Это строки из его «Первых воспоминаний».

Как никто и никогда, за все эти двадцать пять лет, прошедшие со времени его смерти, не обратил никакого внимания на такие изумительные во всех отношениях строки, невозможно понять.

Никакого внимания не обратил никто и на дальнейшие строки из тех же «Первых воспоминаний»:

— При переводе меня вниз к Федору Ивановичу и мальчикам, я испытал в первый раз и потому сильнее, чем когда-либо после, то чувство, которое называют чувством долга, называют чувством креста, который призван нести каждый человек. Мне было жалко покидать привычное (*привычное от вечности*), грустно было, поэтически грустно расставаться не столько с людьми, с сестрой, с

няней, с теткой, сколько с кроваткой, с положком, с подушкой, и страшна была та новая жизнь, в которую я вступал. Я старался находить веселое в той новой жизни, которая предстояла мне: я старался верить ласковым речам, которыми заманивал меня к себе Федор Иванович, старался не видеть того презрения, с которым мальчики принимали меня, меньшого, к себе; старался думать, что стыдно было жить большому мальчику с девочками и что ничего хорошего не было в этой жизни наверху с няней; но на душе было страшно грустно, и я знал, что я безвозвратно терял невинность и счастье, и только чувство собственного достоинства, сознание того, что я исполняю свой долг, поддерживало меня. Много раз потом в жизни мне приходилось переживать такие минуты на распутьях жизни, вступая на новые дороги. Я испытывал тихое горе о безвозвратности утраченного. Я все не верил, что это будет... Но, помню, халат с подтяжкой, пришитой на спине, который на меня надели, как будто отрезал меня навсегда от верха, и я тут в первый раз заметил не всех тех, с кем я жил наверху, но главное лицо, с которым я жил и которое я не понимал прежде. Это была тетушка Татьяна Александровна. Помню невысокую, плотную, черноволосую, нежную, жалостливую. Она надевала на меня халат, обнимая, подпоясывала и целовала, и я видел, что она чувствовала то самое, что и я, что жалко, ужасно жалко, но должно. В первый раз я почувствовал, что жизнь не игрушка, а трудное дело, — не то ли я почувствую, когда буду умирать: я пойму, что смерть или будущая жизнь не игрушка, а трудное дело...

Во всей всемирной литературе нет ничего похожего на эти строки и нет ничего равного им.

— Подчинение и потом опять освобождение.

В чем главное отличие одной человеческой жизни от другой? Не в той ли или иной мере ее «подчинения» и «освобождения»? И вот рождается человек, который на всю жизнь запоминает боль, жалость, грусть, испытанную им на самом пороге «подчинения», при переходе «вниз», и вообще нечто такое, что недоступно обычной человеческой памяти:

— Вот первые мои воспоминания (которые я не умею поставить по порядку, не зная, что было прежде, что после, о некоторых даже не знаю, было ли то во сне или наяву). Вот они: я связан; мне хочется выпростать руки, и я не могу этого сделать, и я кричу, плачу, и мне самому неприятен мой крик; но я не могу остановиться. Надо мной стоит, нагнувшись, кто-то. И все это в полутьме. Но я

помню, что двое. Крик мой действует на них; они тревожатся от моего крика, но не развязывают меня, чего я хочу, и я кричу еще громче. Им кажется, что это нужно (то есть чтобы я был связан), тогда как я знаю, что это не нужно, и хочу доказать им это, и я заливаюсь криком, противным для самого себя, но не неудержимым. Я чувствую несправедливость и жестокость не людей, потому что они жалеют меня, но судьбы и жалость над самим собой. Я не знаю и никогда не узнаю, что это такое было: пеленали ли меня, когда я был грудной, и я выдирал руку, или это пеленали меня уже когда мне было больше года, чтобы я не расчесывал лишаи; собрал ли я в одно это воспоминание, как то бывает во сне, много впечатлений, но верно то, что это было первое и самое сильное впечатление жизни. И памятны мне не крик мой, не страдание, но сложность, противоречивость впечатления. Мне хочется свободы, она никому не мешает, и я, кому сила нужна, я слаб, а они сильны...

«Связывают». Впоследствии он будет неустанно все больше «развязываться», стремиться назад, к «привычному от вечности».

— Другое впечатление — радостное. Я сижу в корыте, и меня окружает новый, не неприятный запах какого-то вещества, которым трут мое маленькое тельце. Вероятно, это были отруби и, вероятно, в воде и в корыте, но новизна впечатления отрубей разбудила меня, и я в первый раз заметил и полюбил свое тельце с видимыми мне ребрами на груди и гладкое темное корыто, засученные руки няни, и теплую, парную, стращенную воду, и звук ее, и в особенности ощущение гладкости мокрых краев корыта, когда я водил по ним ручонками...

Что это такое? Многие дивились: «Какая необыкновенная память была у этого человека!» Но эти почти страшные строки говорят вовсе не о памяти в обычном значении этого слова. Если говорить о памяти так, как о ней обычно говорят, то тут ее нет: такой памяти на свете ни у кого не было и не может быть. Что же это такое? Нечто такое, с чем рождаются только уже совсем «вырождающиеся» люди: «Я помню, что мириады лет тому назад я был козленком», — говорил Будда уже совсем страшными словами. И что означает наличие такой «памяти»?

Вскоре после смерти Толстого я был в индийских тропиках. Возвратясь в Россию, проводил лето на степных берегах Черного моря. И кое-что из того, что думал и чувствовал и в индийских тропиках, и в летние ночи на этих берегах, под немолчный звон ночных степных цикад, впоследствии написал:

— Некоторый род людей обладает способностью особенно сильно чувствовать не только свое время, но и чужое, прошлое, не только свою страну, свое племя, но и другие, чужие, не только самого себя, но и ближнего своего, то есть, как принято говорить, «способностью перевоплощаться», и особенно живой и особенно образной (чувственной) «памятью». Для того же, чтобы быть в числе таких людей, надо быть особью, прошедшей в цепи своих предков долгий путь многих, многих существований* и вдруг явившей в себе особенно полный образ своего дикого пращура со всей свежестью его ощущений, со всей образностью его мышления и с его огромной подсознательностью, а вместе с тем особью, безмерно обогащенной за свой долгий путь и уже с огромной сознательностью.

— Великий мученик или великий счастливец такой человек? И то и другое. Проклятие и счастье такого человека есть его особенно сильное Я, жажда вящего утверждения этого Я и вместе с тем вящее (в силу огромного опыта за время пребывания в огромной цепи существований) чувство тщеты этой жажды, обостренное ощущение Всебытия.

— И вот — поэты, художники, святые, мудрецы, Будда, Соломон, Толстой...

— Гориллы в молодости, в зрелости страшны своей телесной силой, безмерно чувственны в своем мироощущении, беспощадны во всяческом насыщении своей похоти, отличаются крайней непосредственностью, к старости же становятся нерешительны, задумчивы, скорбны, жалостливы... Сколько можно насчитать в царственном племени святых и гениев таких, которые вызывают на сравнение их с гориллами даже но наружности! Всякий знает бровные дуги Толстого, гигантский рост и бугор на черепе Будды, падучую болезнь Магомета, те припадки ее, когда ангелы в молниях открывали ему «тайны и бездны неземные» и «в мановение ока» (то есть вне всяких законов времени и пространства) переносили из Медины в Иерусалим — на Камень Мориа, «непрестанно размахивающийся между небом и землей», как бы смешивающий землю с небом, преходящее с вечным.

— Все подобные им сперва с великой жадностью приемлют мир, затем с великой страстностью клянут его соблазны. Все они сперва

* «Разве не тогда приобретал я все то, что я живу теперь?» Приобретал и тогда, но сколь бесконечно мало в сравнении с тем, что приобретал на этом пути! (*Прим. И. А. Бунина.*)

великие грешники, потом великие враги греха, сперва великие стяжатели, потом великие расточители. Все они ненасытные рабы Майи — и все отличаются все возрастающим с годами чувством Всебытия и неминуемого в нем исчезновения...

— Есть два рода людей. В одном, огромном, — люди своего, определенного момента, житейского строительства, делания, люди как бы почти без прошлого, без предков, верные звенья той Цепи, о которой говорит мудрость Индии: что им до того, что так страшно ускользают в безграничность и начало и конец этой Цепи? А в другом, малом, не только не делатели, не строители, а сущие разорители, уже познавшие тщету делания и строения, люди мечты, созерцания, удивления себе и миру, люди того «умствования», о котором говорит Екклезиаст, — люди, уже втайне откликнувшиеся на древний зов: «Выйди из Цепи!» — уже жаждущие раствориться, исчезнуть во Всеедином и вместе с тем еще люто страждущие, тоскующие о всех тех ликах, воплощениях, в коих пребывали они, особенно же о каждом миге своего настоящего. Это люди, одаренные великим богатством восприятий, полученных ими от своих бесчисленных предшественников, чувствующие бесконечно далекие звенья Цепи, существа, дивно (и не в последний ли раз?) воскресившие в своем лице силу и свежесть своего райского праотца, его телесности. Отсюда и великое их раздвоение: мука и ужас ухода из Цепи, разлука с нею, сознание тщеты ее — и сугубого очарования ею. И каждый из этих людей с полным правом может повторить древнее стенание: «Вечный и Всеобъемлющий! Ты некогда не знал Желания, Жажды*. Ты пребывал в покое, но ты сам нарушил его: ты зачал и повел безмерную Цепь воплощений, из коих каждому надлежало быть все бесплотнее, все ближе к блаженному Началу. Ныне все громче звучит мне твой зов: «Выйди из Цепи! Выйди без следа, без наследства, без наследника! Возвратись ко мне!»**

Будда был в миру царевичем и недаром «из рода тех, чья гордость вошла в поговорку:*** когда настала его брачная пора и со

---

* «Тогда не было ни смерти, ни бессмертия». Ригведа. (*Прим И. А. Бунина.*)

** «Пусти, пусти меня!» Это и значит: «Вон из Цепи!» Но что там, за Цепью? «Пойди, посмотри, чем это кончится? Надо, надо думать!» (*Прим. И. А. Бунина*)

*** Гордость кн. Н. С. Волконского, деда Толстого по матери, тоже была достойна поговорки. (*Прим. И. А. Бунина.*)

всего царства созваны были невесты достойнейшие и прекраснейшие, он пожелал избрать «наилучшую», а на состязании из-за нее с прочими юношами — оказаться «первейшим», как в силе, так и в ловкости; и все свои пожелания выполнил: превзошел всех и во всем, каковому превосходству есть пример хотя бы в том, что, пустив стрелу из лука, он так пустил ее, что она улетела за семь тысяч миль. И дано ему было и великое супружеское счастие и рождение сына, прекраснейшего в мире; а потом — три выезда в город и три встречи, затмившие все радости его, дотоле не подозревавшего, что есть в мире то, что показали ему встречи: болезнь, старость, смерть; и тогда пришло ему в сердце решение оставить и жену и сына, позвать мирские «шелковые сети» и бежать и из родного дома, и из мира: «Тесна жизнь в доме, — сказал он себе, — место нечистоты есть дом, свобода вне дома! Не вернусь я к миру, не знал я прежде мира!» В темную, бурную ночь, достигнув большой реки, — переправы в полное отчуждение от мира, — царевич сошел с коня, снял с себя богатую одежду, обрезал свои длинные волосы, — знак своего высокого достоинства, — и, отдав коня конюху, сопровождавшему его до реки, ушел на поиски «священного спасения»; и испытал многие учения, оказавшиеся ложными, и многие самоистязания, не ведущие к познанию, и, дойдя до предела их, просветлен был в рощах Уравеллы дивным и внезапным прозрением, в чем есть истинное освобождение, спасение от страданий мира и от смертной погибели в нем, и благовествовал «как серебряный колокол, подвешенный к небесному своду»:

— Отверзите уши ваши: освобождение (спасение, избавление) от смерти найдено!

Он благовествовал, во многом следуя древней священной мудрости, говорившей так:

Царство мира сего и царство смерти — одно; это Искуситель Мара, он же смерть.

Освобождение — в разоблачении духа от его материального одеяния.

Освобождение — в самоотречении.

Освобождение — в углублении духа в единое истинное бытие, оно же есть Брама-Атман, основа всякого бытия и истинная сущность человеческого духа. Брама есть свойственное человеку истинное Я, сущий во мраке телесного Атман, Единое, Целое, Вечное.

Освобождение — в стремлении лишь к Атману, к тому состоянию, что подобно сну, в котором не видишь сновидений и не чувствуешь никаких желаний.

Человеческое Я есть земное воплощение Атмана, земное проявление его.

Освобожденный, спасенный — тот, кто познал Атмана до конца и возвращается к нему, не желая никакого потомства.

VI

Мечтать о счастье видеть его я начал очень рано.

Мальчиком я уже имел некоторое представление о нем, но не из чтений его книг, а по разговорам у нас в доме. Между прочим, помню, что отец нередко смеялся, рассказывая, как читают «Войну и мир» наши соседи помещики: один читает только «Войну», а другой только «Мир», один, читая, пропускает все, что касается войны, а другой — наоборот. И чувства к Толстому были у меня тогда уже не простые. Отец (в молодости участвовавший, как и Толстой, в обороне Севастополя) говорил:

— Я его немного знал. Во время севастопольской кампании встречал...

И я смотрел на него во все глаза: живого Толстого видел!

В ранней молодости я был совершенно влюблен в него, в тот мной самим созданный образ, который томил меня мечтой увидеть его наяву. Мечта эта была неотступная, но как я мог тогда осуществить ее? Поехать в Ясную Поляну? Но с какой стати, с какими глазами? «Что вам угодно, молодой человек?» — спросят меня в Ясной Поляне. И что я отвечу тогда?

Раз я не выдержал: в один прекрасный летний день внезапно приказал оседлать своего верхового «киргиза» и поскакал в Ефремов, — уездный город Тульской губернии, — в сторону Ясной Поляны, до которой от нас было не более ста верст. Но, доскакав до Ефремова, испугался, решил обдумать дело серьезнее, переночевать в Ефремове — и всю ночь мучился от смены решений — ехать, не ехать, — скитался ночью по городу и так устал, что, зайдя на рассвете в городской сад, мертвым сном заснул на первой попавшейся скамейке, а проснувшись, и совсем протрезвился, подумал еще немного — и поскакал назад, домой.

Позднее, страстно мечтая о чистой, здоровой, «доброй» жизни среди природы, собственными трудами, в простой одежде, главное же, опять-таки от влюбленности в Толстого, как художника, я стал толстовцем, — конечно, не без тайной надежды, что это даст мне наконец уже как бы несколько законное право увидеть его и даже,

может быть, войти в число людей, приближенных к нему. И вот, началось мое толстовское «послушание».

Я жил тогда в Полтаве, где почему-то оказалось немало толстовцев, с которыми я вскоре и сблизился. Тут я узнал, каково было большинство учеников Толстого, — полтавские были типичны за некоторыми исключениями, это был совершенно несносный народ.

Я видел «самого» Черткова. Это был высокий, крупный, породистый человек с небольшой, очень гордой головой, с холодным и надменным лицом, с ястребиным, совсем небольшим и прекрасно сформированным носом и с ястребиными глазами. Софья Андреевна была очень талантлива художественно, — то ли от природы, то ли от того, что прожила три четверти жизни с Толстым. Часто она говорила с необыкновенной меткостью. Однажды сказала про какого-то революционера, посетившего Ясную Поляну: «Пришел, сел и сидит. Упорно молчит, неподвижное лицо, очень черный брюнет, синие очки и кривой глаз». А Черткова она называла «идолом». Я видел его всего раз или два и не решаюсь судить точно, что он был за человек. Но впечатление от него у меня осталось такое, что лучше и не скажешь: «Идол». Очень идет к этому определению и следующее воспоминание Александры Львовны:

— Какой задорный вид бывал у отца, когда он выходил из кабинета после удачной работы! Поступь легкая, бодрая, лицо веселое, глаза смеются. Иногда вдруг повернется на одном каблуке или легко и быстро перекинет ногу через спинку стула. Я думаю, всякий уважающий себя толстовец пришел бы в ужас от такого поведения учителя. Да такая резвость и не прощалась отцу. Я помню такой случай. На «председательском» месте, как оно у нас называлось, сидела мама. По правую сторону отец, рядом с ним Чертков. Обедали на террасе, было жарко, комары не давали покоя. Они носились в воздухе, пронзительно и нудно жужжа, жалили лицо, руки, ноги. Отец разговаривал с Чертковым, остальные слушали. Настроение было веселое, оживленное, острили, смеялись. Вдруг отец, взглянув на голову Черткова, быстрым, ловким движением хлопнул его по лысине. От налившегося кровью, раздувшегося комара осталось кровавое пятнышко. Все расхохотались, засмеялся и отец. Но внезапно смех оборвался. Чертков, мрачно сдвинув красивые брови, с укоризной смотрел на отца:

— Что вы наделали? — проговорил он. — Что вы наделали, Лев Николаевич! Вы лишили жизни живое существо! Как вам не стыдно?

Отец смутился. Всем стало неловко...

Первый, кого я узнал в Полтаве, был некто Клопский, человек довольно известный в то время среди толстовцев и даже попавший в герои нашумевшей тогда повести Каронина «Учитель жизни». Это был высокий, худой человек в длинных сапогах и в блузе, с узким серым ликом и бирюзовыми глазами, хитрый нахал и плут, неутомимый болтун, вечно всех поучавший, наставлявший, любивший ошеломлять неожиданными выходками, дерзостями, словом, всей той манерой вести себя, при помощи которой он довольно сытно и весело шатался из города в город. К толстовцам принадлежал и полтавский доктор Александр Александрович Волкенштейн, по происхождению и по натуре большой барин, кое в чем походивший на Стиву Облонского из «Анны Карениной». И вот, явившись в Полтаву, Клопский первым делом отправляется к Волкенштейну и очень скоро попадает через него в полтавские салоны, куда Волкенштейн проводит его и с «идейной» целью, как проповедника, и просто для забавы, как курьезную фигуру, и где Клопский говорит, например, так:

— Да, да, вижу, как вы живете: лжете да конфетами закусываете, да идолам своим по церквам, которые уже давно пора на воздух взорвать, молебны служите! И когда только вообще кончатся все те нелепости и мерзости, в которых тонет мир? Вот, скажем, ехал я сюда из Харькова. Приходит человек, называемый почему-то кондуктором, и говорит: «Ваш билет». Я его спрашиваю: «А что это значит, какой, собственно, билет?» Отвечает: «Но билет, по которому вы едете?» А я ему опять свое: «Позвольте я не по билету, а по рельсам еду». — «Значит, говорит, у вас билета нет?» — «Конечно, говорю, нету». — «В таком случае мы вас на следующей станции высадим». — «Прекрасно, говорю, это ваше дело, а мое дело ехать». На следующей станции действительно являются: «Пожалуйте выходить». — «Но зачем же, говорю, выходить, мне и тут хорошо». — «Тогда мы вас выведем». — «Выведете? Но я не пойду». — «Тогда вытащим, вынесем». — «Что ж, выносите, это ваше дело». И вот, меня действительно тащат: несут на руках, на диво всей почтенной публике, два рослых бездельника, два мужика, которые с гораздо большей пользой могли бы землю пахать!

Таков был Клопский. Прочие были в другом роде, но тоже хороши. Это были братья Д., севшие на землю под Полтавой, люди необыкновенно скучные, тупые и самомнительные, хотя с виду весьма смиренные, затем некто Леонтьев, щуплый и маленький

молодой человек, болезненной и редкой красоты, бывший паж, тоже мучивший себя мужицким трудом и тоже лгавший себе и другим, что он очень счастлив этим, затем громадный еврей, похожий на матерого русского мужика, ставший впоследствии известным под именем журналиста Тенеромо, державшийся всегда с необыкновенной важностью и снисходительностью к простым смертным, нестерпимый ритор, софист, занимавшийся бондарным ремеслом. К нему-то под начало и попал я. Он-то и был мой главный наставник, как в «учении», так и в жизни трудами рук своих: я был у него подмастерьем, учился набивать обручи. Для чего мне нужны были эти обручи? Для того опять-таки, что они как-то соединяли меня с Толстым, давали мне тайную надежду когда-нибудь увидать его, войти в близость с ним. И, к великому моему счастью, надежда эта вскоре совершенно неожиданно оправдалась. Вскоре вся «братия» смотрела на меня уже как на своего, и Волкенштейн — это было в самом конце девяносто третьего года — вдруг пригласил меня ехать с ним сперва к «братьям» в Харьковскую губернию, к мужикам села Хилково, — принадлежавшего известному толстовцу князю Хилкову, — а затем в Москву, к самому Толстому.

Трудное это было путешествие. Ехали мы в третьем классе, с пересадками, все норовя попадать в вагоны наиболее простонародные, ели «безубойное», то есть черт знает что, хотя Волкенштейн иногда и не выдерживал, вдруг бежал к буфету и с страшной жадностью глотал одну за другой две-три рюмки водки, закусывая и обжигаясь пирожками с мясом, а потом пресерьезно говорил мне:

— Я опять дал волю своей похоти и очень страдаю от этого, но все же борюсь с собой и все же знаю, что не пирожки владеют мной, а я ими, я не раб их, хочу — ем, хочу — не ем...

Трудно было ехать потому больше всего, что я сгорал от нетерпения поскорей попасть в Москву, нам же, видите ли, непременно надо было ехать с плохими поездами, а не со скорыми, не с курьерскими, затем пожить с хилковскими «братьями», войти в личное общение с ними и «укрепить» и себя и их этим общением на путях «доброй» жизни. Мы так и сделали — пожили у хилковских мужиков, кажется, дня три или четыре, и я возненавидел за эти дни этих богатых, благочестивых, благих на вид мужиков, ночевки в их избах, их пироги с начинкой из картофеля, их псалмопение, их рассказы про их непрестанную и лютую борьбу «с попами и начальниками» и буквоедские споры о Писании истинно всеми силами души. Наконец, первого января, мы тронулись дальше... Помню, я

проснулся в тот день с такой радостью, что совсем забылся и брякнул: «С Новым годом, Александр Александрович!» — за что и получил от Александра Александровича жесточайший нагоняй: что это значит — Новый год, понимаю ли я, какую бессмыслицу повторяю я? Однако не до того мне было тогда. Я слушал и думал: прекрасно, прекрасно, все это сущий вздор, — завтра вечером мы будем в Москве, а послезавтра я увижу Толстого... И так оно и случилось.

Волкенштейн кровно обидел меня: поехал к Толстому сию же минуту после того, как мы добрались до московской гостиницы, а меня с собой не взял: «Нельзя, нельзя, надо предупредить Льва Николаевича, я предупрежу, предупрежу», — и убежал. Вернулся же домой очень поздно и даже ничего не рассказал о своем визите, только поспешно кинул мне: «Я точно живой воды напился!» — причем я совершенно безошибочно определил по запаху от него, что он, после живой воды, пил еще и шамбертен, затем, очевидно, чтобы доказать, что не он раб шамбертена, а шамбертен его раб. Хорошо было только то, что Толстого он все-таки предупредил, хотя я даже и на это мало надеялся: очень милый, но уж очень легкомысленный человек был этот слегка женоподобный, полнеющий, красивый брюнет. На другой день вечером я, вне себя, побежал наконец в Хамовники...

Как рассказать все последующее?

Лунный морозный вечер. Добежал, стою и едва перевожу дыхание. Кругом глушь и тишина, пустой лунный переулок. Передо мной ворота, раскрытая калитка, снежный двор. В глубине, налево, деревянный дом, некоторые окна которого красновато освещены. Еще левее, за домом, — сад, и над ним тихо играющие разноцветными лучами сказочно-прелестные зимние звезды. Да и все вокруг сказочное. Какой особый сад, какой необыкновенный дом, как таинственны и полны значения эти освещенные окна: ведь за ними — Он! И такая тишина, что слышно, как колотится сердце — и от радости, и от страшной мысли: а не лучше ли поглядеть на этот дом и бежать назад? Отчаянно кидаюсь наконец во двор, на крыльцо дома и звоню. Тотчас же отворяют — и я вижу лакея в плохоньком фраке и светлую прихожую, теплую, уютную, с шубками и шубами на вешалке, среди которых резко выделяется старый полушубок. Прямо передо мной крутая лестница, крытая красным сукном. Правее, под нею, запертая дверь, за которой слышны гитары и веселые молодые голоса, удивительно беззаботные к тому, что они раздаются в таком совершенно необыкновенном доме.

— Как прикажете доложить?

— Бунин.

— Как-с?

— Бунин.

— Слушаю-с.

И лакей убегает наверх и, к моему удивлению, тотчас же, вприпрыжку, бочком, перехватывая рукой по перилам, сбегает назад:

— Пожалуйте обождать наверх, в залу...

А в зале я удивляюсь еще больше: едва вхожу, как в глубине ее, налево, тотчас же, не заставляя меня ждать, открывается маленькая дверка, и из-за нее быстро, с неуклюжей ловкостью выдергивает ноги, выныривает, — ибо за этой дверкой было две-три ступеньки в коридор, — кто-то большой, седобородый, слегка как будто кривоногий, в широкой, мешковато сшитой блузе из серой бумазеи, и таких же штанах, больше похожих на шаровары, и в тупоносых башмаках. Быстрый, легкий, страшный, остроглазый, с насупленными бровями. И быстро идет прямо на меня, — меж тем как я все-таки успеваю заметить, что в его походке, вообще во всей посадке, есть какое-то сходство с моим отцом, — быстро (и немного приседая) подходит ко мне, протягивает, вернее, ладонью вверх бросает большую руку, забирает в нее всю мою, мягко жмет и неожиданно улыбается очаровательной улыбкой, ласковой и какой-то вместе с тем горестной, даже как бы слегка жалостной, и я вижу, что эти маленькие серо-голубые глаза вовсе не страшные и не острые, а только по-звериному зоркие. Легкие и жидкие остатки серых (на концах слегка завивающихся) волос по-крестьянски разделены на прямой пробор, очень большие уши сидят необычно высоко, бугры бровных дуг надвинуты на глаза, борода, сухая, легкая, неровная, сквозная, позволяет видеть слегка выступающую нижнюю челюсть...

— Бунин? Это с вашим батюшкой я встречался в Крыму? Вы что же, надолго в Москву? Зачем? Ко мне? Молодой писатель? Пишите, пишите, если очень хочется, только помните, что это никак не может быть целью жизни... Садитесь, пожалуйста, и расскажите о себе...

Он заговорил так же поспешно, как вошел, мгновенно сделав вид, будто не заметил моей потерянности, и торопясь вывести меня из нее, отвлечь от нее меня.

Что он еще говорил?

Все расспрашивал:

— Холосты? Женаты? С женщиной можно жить только как с женой и не оставлять ее никогда... Хотите жить простой, трудовой жизнью? Это хорошо, только не насилуйте себя, не делайте мундира из нее, во всякой жизни можно быть хорошим человеком...

Мы сидели возле маленького столика. Довольно высокая старинная фаянсовая лампа мягко горела под розовым абажуром. Лицо его было за лампой, в легкой тени, я видел только мягкую серую материю его блузы, да его крупную руку, к которой мне хотелось припасть с восторженной, истинно сыновней неясностью, да слышал его старческий, слегка альтовый голос, с характерным звуком несколько выдающейся челюсти... Вдруг зашуршал шелк, я взглянул, вздрогнул, поднялся: из гостиной плавно шла крупная и нарядная, сияющая черным шелковым платьем, черными волосами и живыми, сплошь темными глазами дама:

— Леон, — сказала она, — ты забыл, что тебя ждут...

И он тоже поднялся и с извиняющейся, даже как бы виноватой улыбкой, глядя мне прямо в лицо своими маленькими глазами, в которых все была какая-то темная грусть, опять забрал мою руку в свою:

— Ну, до свидания, до свидания, дай вам бог, приходите ко мне, когда опять будете в Москве... Не ждите многого от жизни, лучшего времени, чем теперь у вас, не будет... Счастья в жизни нет, есть только зарницы его — цените их, живите ими...

И я ушел, убежал и провел вполне сумасшедшую ночь, непрерывно видел его во сне с разительной яркостью, в какой-то дикой путанице...

Возвратясь в Полтаву, я писал ему и получил от него несколько ласковых ответных писем. В одном из них он опять дал мне понять, что не стоит мне так уж стараться быть толстовцем, но я все-таки не унимался: обручи набивать бросил, но стал торговать книжками «Посредника», — московского толстовского издательства, — завел полтавское отделение его. Да, как это ни странно, я когда-то торговал: когда-то в Полтаве была лавочка, внутри которой очень хорошо пахло новыми тесовыми полками и лежащими на них новыми книжками и брошюрками, а над входом висела вывеска: «Книжный магазин Бунина». Я служил тогда в полтавской земской управе, был ее библиотекарем, сидел в сводчатом полуподвальном зале, в глубокие окна которого глядел старый сад управы. Там я, один, в тиши, читал, писал стихи, порой работал над составлением очерков (о борьбе с вредными насекомыми, об урожае хлебов и

трав), которые мне заказывало статистическое бюро, бывшее при управе, и составил, кстати сказать, столько, что, если бы собрать их теперь, к сочинениям моим прибавилось бы еще три-четыре порядочных тома. Так я проводил время до обеда. А после обеда шел в свой книжный магазин и ждал там покупателей, жаждущих толстовского просвещения. Покупателей, однако, не было, и вот я, чтобы хоть как-нибудь способствовать распространению этого просвещения, стал бесплатно раздавать некоторые брошюрки «Посредника» управским сторожам. Когда же и из этого не вышло ничего путного, — например, один сторож, которому я дал брошюрку о вреде курения, сказал мне вскоре после того, что вся брошюрка эта пошла у него на тютюн, на цигарки, — я решился на более смелое дело: стал иногда, пользуясь свободой своей службы, отправляться в странствия по губернии, торговать «Посредником» по ярмаркам, по базарам, где и был однажды задержан урядником «на предмет составления протокола на торговлю без законного на то разрешения», каковой протокол, конечно, повлек за собой через некоторое время судебное преследование. Преследование оказалось довольно сурово: меня приговорили к трем месяцам тюремного заключения, и я был, понятно, очень рад, что наконец-то и мне удастся «пострадать». Однако и тут преследовала меня неудача: сидеть в тюрьме мне не пришлось, — я попал под всемилостивейший манифест по случаю восшествия на престол нового императора и таким манером от страданий был насильственно избавлен.

Бросив торговлю (в которой я так запутал счеты, несмотря на их малые размеры, что порою подумывал повеситься от стыда, от беспомощности), я переехал на жительство в Москву, но и там все еще пытался уверить себя, что я брат и единомышленник руководителей «Посредника» и тех, что постоянно торчали в его помещении, наставляя друг друга насчет «доброй жизни».

Там-то я и видел его еще несколько раз. Он туда иногда заходил, вернее, забегал (ибо он ходил удивительно легко и быстро) и, не снимая полушубка, сидел час или два, со всех сторон окруженный «братией», делавшей ему порою такие вопросы:

— Лев Николаевич, но что же я должен был бы делать, неужели убивать, если бы на меня напал, например, тигр?

Он в таких случаях только смущенно улыбался:

— Да какой же тигр, откуда тигр? Я вот за всю жизнь не встретил ни одного тигра...

Сыновей его я в ту пору еще никого не знал и не видал. Дочерей видел. Однажды вечером застал в «Посреднике» и его, и их, всех трех: Таню, старшую, Машу, среднюю, и Сашу, младшую. Он сидел возле большого деревянного стола, занимавшего середину комнаты и освещенного сверху висячей лампой, зябко ежился, запустив руки в рукава своего старого нагольного полушубка и положив их на стол, и слегка хмурился, слушая стоявших вокруг и что-то говоривших сотрудников «Посредника», из которых резко выделялись двое: один небольшой, широкоплечий, широкоскулый, похожий на сельского учителя, в серой блузе и в валенках, с острым, сумасшедшим взглядом за очками, другой высокий, стройный, страстно-мрачный красавец с черно-синими волосами и совершенно безумным, экстатическим выражением смуглого, худого лица. А они все сидели на диване в углу и пристально смотрели оттуда блестящими молодыми глазами. Когда я присел к столу, они с любопытством стали глядеть на меня, начали что-то шептать друг другу и смеяться: живо и насмешливо взглянут на меня, что-то тихо скажут одна другой и покатятся со смеху. Я недоумевал: в чем дело, что смешного нашли они во мне? И стал краснеть, делать вид, что не замечаю их, как вдруг он быстро взглянул на меня, весело улыбнулся и, не оборачиваясь, строго и шутливо крикнул:

— Перестаньте смеяться!

Вспоминаю еще, как однажды я сказал ему, желая сказать приятное и даже слегка подольститься:

— Вот всюду возникают теперь эта общества трезвости...

Он сдвинул брови:

— Какие общества?

— Общества трезвости...

— То есть это когда собираются, чтобы водки не пить? Вздор. Чтобы не пить, незачем собираться. А уж если собираться, то надо пить. Все вздор, ложь, подмена действия видимостью его...

А на дому я был у него еще только один раз. Меня провели через залу, где я когда-то впервые сидел с ним возле милой розовой лампы, потом в эту маленькую дверку, по ступенькам за ней и по узкому коридору, и я робко стукнул в дверь направо.

— Войдите, — ответил старческий альтовый голос.

И я вошел и увидал низкую, небольшую комнату, тонувшую в сумраке от железного щитка над старинным подсвечником в две свечи, кожаный диван возле стола, на котором стоял этот подсвечник, а потом и его самого, с книгой в руках. При моем входе он

быстро поднялся и неловко, даже, как показалось мне, смущенно бросил ее в угол дивана. Но глаза у меня были меткие, и я увидел, что читал он, то есть перечитывал (и, вероятно, уже не в первый раз, как делаем это и мы, грешные) свое собственное произведение, только что напечатанное тогда, — «Хозяин и работник». Я, от восхищения перед этой вещью, имел бестактность издать восторженное восклицание. А он покраснел, замахал руками:

— Ах, не говорите! Это ужас, это так ничтожно, что мне по улицам ходить стыдно!

Лицо у него было в этот вечер худое, темное, строгое: незадолго перед тем умер его семилетний Ваня. И после «Хозяина и работника» он тотчас заговорил о нем:

— Да, да, милый, прелестный мальчик был. Но что это значит — умер? Смерти нет, он не умер, раз мы любим его, живем им!

Вскоре мы вышли и пошли в «Посредник». Была черная мартовская ночь, дул весенний ветер, раздувая огни фонарей. Мы бежали наискось по снежному Девичьему Полю, он прыгал через канавы, так что я едва поспевал за ним, и опять говорил — отрывисто, строго, резко:

— Смерти нету, смерти нету!

Через несколько лет после этого я видел его еще раз. Как-то в страшно морозный вечер, среди огней за сверкающими, обледенелыми окнами магазинов, шел в Москве по Арбату — и неожиданно столкнулся с ним, бегущим своей пружинной походкой прямо навстречу мне. Я остановился и сдернул шапку. Он сразу узнал меня:

— Ах, это вы! Здравствуйте, здравствуйте, надевайте, пожалуйста, шапку... Ну, как, что, где вы и что с вами?

Старческое лицо его так застыло, посинело, что имело совсем несчастный вид. Что-то вязаное из голубой песцовой шерсти, что было на его голове, было похоже на старушечий шлык. Большая рука, которую он вынул из песцовой перчатки, была совершенно ледяная. Поговорив, он крепко и ласково пожал мою, опять глядя мне в глаза горестно, с поднятыми бровями:

— Ну, Христос с вами, Христос с вами, до свидания...

VII

Не помню, в каком именно году видел я его в этот зимний вечер в Москве на Арбате. О чем мы говорили, тоже не помню. Помню только, что во время этого короткого разговора он спросил меня, пишу ли я что-нибудь? Я ответил:

— Нет, Лев Николаевич, почти не пишу. И все, что прежде писал, кажется теперь таким, что лучше и не вспоминать.

Он оживился:

— Ах, да, да, прекрасно знаю это!

— Да и нечего писать, — прибавил я.

Он посмотрел на меня как-то нерешительно, потом точно вспомнил что-то.

— Как же так нечего? — спросил он. — Если нечего, напишите тогда, что вам нечего писать и почему нечего. Подумайте, почему именно нечего, и напишите. Да, да, попробуйте сделать так, — сказал он твердо.

Так видел я его последний раз. Часто потом говорил себе: непременно надо хоть однажды увидать еще, ведь, того гляди, это станет невозможно, — и все не решался искать новой встречи. Все думал: зачем я ему? Когда разнеслась весть, что его уже нет на свете, я был в Петербурге. Тотчас подумал: ехать, увидать его еще раз, хоть в гробу! — но удержало какое-то необъяснимое чувство: нет, этого не надо.

Я вскоре возвратился в Москву. Там только и было разговору, что о нем. Те, что были на его похоронах, рассказывали, «какое это было удивительно грандиозное зрелище, истинно народное, несмотря на все меры, предпринятые правительством, дабы помешать ему быть таким», как везли тело со станции Астапово на Козлову Засеку, как, в сопровождении огромной толпы, на руках несли гроб по полям к Ясной Поляне, и я рад был, что ничего этого не видел собственными глазами: хоронили его «благодарные крестьяне», хоронила «студенческая молодежь» и «вся русская передовая интеллигенция», — общественные деятели, адвокаты, доктора, журналисты, — люди, чуждые ему всячески, восхищавшиеся только его обличениями церкви и правительства и на похоронах испытывавшие в глубине душ даже счастье: тот экстаз театральности, что всегда охватывает «передовую» толпу на всяких «гражданских» похоронах, в которых всегда есть некоторый революционный вызов и это радостное сознание, что вот настал такой миг, когда никакая полиция не смеет ничего тебе сделать, когда чем больше этой полиции, принужденной терпеть «огромный общественный подъем», тем лучше...

В те дни нам уже стало известно с достаточной точностью, — от Сергея Львовича, старшего его сына, постоянно жившего в Москве и только что вернувшегося из Ясной Поляны, — что именно

«переполнило чашу терпения Льва Николаевича» и как он бежал. Все это было то самое, что впоследствии столько раз описывали и что Сергей Львович узнал от Александры Львовны. И я помню, как я, слушая, минута за минутой переживал в воображении эту ночь с 27 на 28 октября: ведь эта ночь была еще так близка, ведь с этой ночи прошло тогда всего две недели...

Говорили общеизвестное теперь: бежал потому, что за последний год был особенно замучен женой и некоторыми сыновьями из-за слухов, что написал завещание, в котором отказался от авторских прав уже на все свои сочинения. Говорили, что Софья Андреевна с психопатической настойчивостью добивалась узнать, правда ли, что существует такое завещание, — она уже давно чувствовала, что вокруг нее происходит что-то тайное, что Лев Николаевич с Александрой Львовной ведут какие-то сокровенные дела: имеют какие-то письменные и устные переговоры с Чертковым и его помощниками, где-то видятся с ними, прячут от нее какие-то бумаги и новые дневники Льва Николаевича... Целью ее жизни стала с тех пор слежка за ним, искание по дому этих бумаг и дневников...

Александра Львовна проснулась в ночь с 27 на 28 октября от его легкого стука в дверь и услыхала его прерывающийся голос: «Саша, я сейчас уезжаю». Он стоял в своей серой блузе, со свечой в руке, и лицо у него («розовое») было «светло, прекрасно и полно решимости». Сергей Львович рассказывал: отец весь дрожал, как попало собираясь при помощи Александры Львовны в дорогу, — «только самое необходимое, Саша, да карандаши и перья, и никаких лекарств!» — руки его прыгали, затягивая ремни чемодана... Потом он побежал на конюшню будить работников, велел запрягать лошадей. Ночь была сырая, холодная и непроглядная, он в темноте заблудился, попал в какие-то кусты, чуть не выколол глаз, потерял шапку... Вернувшись в дом и надев другую, опять побежал, светя себе электрическим фонариком, в конюшню, стал помогать запрягать и, все больше дрожа от страха, что вот-вот проснется Софья Андреевна, едва мог надеть на лошадь уздечку, потом обессилел: бросил помогать, отошел в угол каретного сарая, слабо освещенного огарком свечки, и в полном изнеможении сел на что-то в полутьме... На нем была в эту ночь старая вязаная шапка, — может быть, все та же самая, в которой я видел его на Арбате, — старая синяя поддевка, старые вязаные перчатки, старые калоши... А 7 ноября, уже на смертном ложе, — серая фланелевая блуза, серенькие штаны, серые шерстяные чулки и ночные туфли...

Ужасно было в то время читать газеты с их пошлой торжественностью:

— С 10 часов 7 ноября разрешили входить в ту комнату, где лежало тело великого старца, всем желавшим поклониться ему. Железнодорожники убрали его ложе ветками можжевельника и возложили первый венок с трогательной надписью: «Апостолу любви». Потом стали приходить крестьяне из соседних деревень, деревенские школьники; многие родители приводили детей, чтобы они видели и всю жизнь вспоминали потом лицо великого защитника всех трудящихся и обремененных...

— В полдень организовали первую гражданскую панихиду. Толпа пела «вечную память»...

— На другой день гроб поставили в товарный вагон, убранный соломенными венками и хвойными ветками, и поезд, переполненный родными и близкими, друзьями и поклонниками, представителями печати и общественности, медленно тронулся...

«Приехав в день похорон в Ясную Поляну с журналистом Поповым, — писал в «Русских ведомостях» поэт Брюсов, — мы пошли к усадьбе пешком... Вот фруктовый сад, насаженный Толстым, вот крытая аллея, где он любил сидеть отдыхать, а вот и рощица, где вырыта для него могила... Дальше — типичная усадьба деревенских дворян, простой двухэтажный дом... Во дворе усадьбы — толпы народу, студенты, курсистки, фотографы... В парке повсюду конные стражники и конные казаки... Откуда-то издали уже слышится хоровое пение приближающегося кортежа:

— Несут!

Кортеж приближается. Впереди идут крестьяне, несущие на древках полотнище, на котором начертано: «Лев Николаевич, память о том добре, которое ты делал нам, никогда не умрет в нас, осиротевших крестьянах Ясной Поляны». За ними — простой дубовый гроб, который несут на руках открытым. Еще дальше три телеги с венками...»

Тем же тоном рассказывается и дальнейшее:

«В сумерки опять растворяются двери дома. И тихо, медленно выносят гроб.

Несут сыновья.

Кто-то начинает «вечную память». Пение подхватывается всей толпой, даже теми, кто никогда в жизни не пел.

В эту минуту этот хор — Россия.

— На колени!

И вся толпа, на всем пути гроба, опускается на колени...»

Попов, о котором упоминает Брюсов, был мне знаком. Возвратясь в Москву, он много рассказывал мне об этом «грандиозном зрелище». Рассказывал и некто Мертваго, тоже ездивший в Ясную Поляну. Он вечером после похорон сидел на деревне с яснополянскими мужиками, и мужики все спрашивали:

— Ну вот, мы несли эту самую вывеску. Что ж, будет нам за это какое-нибудь награждение от начальства или от графини? Ведь мы как старались! Целый день на ногах! Опять же на венок потратились.

Попов ужасно возмущался. Подумайте, как относился покойный к ним всю жизнь, сколько и впрямь добра сделал! А как было шестьдесят лет назад, когда он, еще юношей, еще до правительственного освобождения крестьян от крепостного права, сам предлагал им волю, и они не поверили бескорыстности его намерений, так и теперь осталось! Мертваго, старый помещик, хорошо знавший мужиков, только усмехался. Он рассказывал, как ядовито говорил один яснополянский мужик:

— Да, хороший был барин покойный граф! Все, говорит, бывало, теперь не мое, я давно все добро жене и детям отдал, мне это, мол, без надобности, я трудящий народ люблю... А выйдешь так-то на зорьке, еще солнце не показывалось, а уж он шмыг, шмыг по росе, по опушке своего леса, и так шныряет глазами по лесу: нет ли, значит, порубки где?

— Я его, — рассказывал Мертваго, — стыдить стал, уверять, что это он для здоровья гулял рано по утрам. Куда тебе! Мужик стоял на своем: «Знаем мы это здоровье! Нет, уж такие зоркие хозяйские глаза были!»

Это бегство из Ясной Поляны, эта смерть на захолустной железнодорожной станции и эти «гражданские» похороны примирили с ним уже все «передовое» русское общество и снова вызвали бесконечные толки о нем.

В пору моей ранней молодости о нем тоже очень много говорили, но совсем иначе. Тогда все еще поражались тем, что граф, аристократ, богач, знаменитый романист, вдруг надел мужицкую одежду, стал пахать, шить сапоги, класть печи, обслуживать самого себя. Поражались «Крейцеровой сонатой» и особенно «Послесловием» к ней, где человек, произведший на свет тринадцать человек детей, вдруг восстал не только против любви между мужчиной и женщиной, но даже и против продолжения человеческого рода. Чаще всего

говорили, что «Крейцерова соната» объясняется очень просто — его старчеством и тем, что он «ненавидит жену». Еще тогда рассказывал мне Теноромо, будто Толстой сказал ему однажды:

— Ненавижу Софью Андреевну, да и всех женщин! Умру, положат в гроб, закроют крышкой, а я вдруг вскочу, скину ее и крикну Софье Андреевне: «Ненавижу!»

Тогда жил в толстовской семье в качестве учителя детей некто Лазурский, впоследствии профессор Новороссийского университета, который рассказывал мне, как однажды Софья Андреевна говорила с ним о «Крейцеровой сонате», когда вдруг вошел Толстой.

— О чем это вы? — сказал он. — О любви, о браке? Брак — погибель. Шел человек до поры, до времени один, свободно, легко, потом взял и связал свою ногу с ногой бабы.

Софья Андреевна спросила:

— Зачем же ты сам женился?

— Глуп был, думал тогда иначе.

— Ну, да, ты ведь постоянно так: нынче одно, завтра другое, все меняешь свои убеждения.

— Всякий должен их менять, стремиться к лучшим. В браке люди сходятся только затем, чтобы друг другу мешать. Сходятся два чужих человека и на весь век остаются друг другу чужими. Говорят: муж и жена — параллельные линии. Вздор, — это пересекающиеся линии; как только пересеклись, так и пошли в разные стороны...

Без конца шли тогда страстные и раздраженные разговоры о его проповеди «неделания» и «непротивления злу». Те, что находились в оппозиции всему государственному устройству России и всем действиям правительства, целью своей жизни ставившие всяческую действенную политическую и общественную борьбу «за благо народа» и за новое государственное устройство, считали его тогда своим очень опасным, благодаря его имени, врагом: хорошее время выбрал его сиятельство для проповеди неделания и непротивления, для призывов «удалиться в келью под елью» ради спасения грешных душ и тел от всяких мирских дел и соблазнов! Сидит в лаптях в своем роскошном доме, кушает из рук лакея в белых перчатках — и проповедует святую нищету и «неделание»! Эти только тогда были на его стороне, когда он «обличал». А другие ненавидели его за его обличения, за борьбу с церковью, за его «глумления» над тем пониманием христианства, которое она имела спокон веков. И все рассказывали одно и то же — о его «чудачествах», о резкости, нелепости или невежественности его мнений, суждений,

о страстности его натуры, которую он должен бы был то и дело смирять, о тех противоречиях и слабостях, что были в нем.

— Кто так, как он, осуждал и все еще осуждает людей надменных, гордых, честолюбивых, чувственных, самонадеянных, самоуверенных? А сам во всех этих качествах всех превзошел. Вот уж кто истинно пресытился в удовлетворении всяких своих пороков и страстей и как дьявол обуян гордыней!

— Наслушалась и я в своей молодости о нем, — рассказывала мне Лопатина. — Хорошо помню этот серый деревянный дом с большим старым садом возле Девичьего Поля, дом графа Льва Николаевича Толстого в Хамовническом переулке или, как выражались короче, в Хамовниках, много говорили тогда об этом доме, о его хозяине и о «темных»: так называл и сам Лев Николаевич и все его домашние толстовцев, появлявшихся в хамовническом доме в своих блузах и туфлях, — сапогов, то есть «кожу убитых животных» они не носили, — молча сидевших по углам, смотревших с вызывающим осуждением, людей угрюмых, нелюдимых, страшных на вид, заросших лохматыми бородами и волосами, — их называли еще «дремучими». Не было тогда дома в Москве, где бы не обсуждали проповедей Толстого, не бранились по поводу него, не рассказывали о том, как он, в своей бекешке, с седой бородой, с жесткими и умными глазами под нависшими бровями, пробегает то там, то здесь по московским улицам и бульварам, как видят его иногда везущим бочку воды на обледенелых салазках... Мне тут вспоминаются отношения между ним и Владимиром Соловьевым.

— Было известно, что Лев Николаевич не любит Соловьева и что и Соловьев отзывается о нем без особого почтения. Когда по Москве читали в рукописи «В чем моя вера», Соловьев писал профессору Карееву: «Здесь Лев Толстой выпускает свою новую книгу под названием: «В чем моя вера». Один мой приятель, прочитавши ее в корректуре, говорит, что ничего более наглого и глупого он никогда не читал. Сущность книги — в ожесточенной полемике против идеи бессмертия души, против церкви, государства и общественного порядка — все это во имя Евангелия. Апостол Павел называется там «полоумным кабалистом, совершенно исказившим христианство». Конечно, эта книга будет запрещена, что не помешает ее распространению в публике, но сделает невозможным ее опровержение в печати». Соловьев спорил с Н. Н. Страховым: «С тем, что вы пишете о Достоевском и о Толстом, я решительно не согласен. Некоторая непрямота и неискренность, — так сказать,

сугубость, — была в Достоевском лишь той шелухой, о которой вы так прекрасно говорите, но Достоевский был способен отбрасывать эту шелуху, и тогда под ней оказывалось много настоящего и хорошего. А у Толстого непрямота и неискренность более глубокие, но я не желаю об этом распространяться: во-первых, ввиду ваших чувств к нему, во-вторых, ввиду Великого Поста, в-третьих, ввиду заповеди «не судите», которую я продолжаю понимать в нравственном, а не в юридическом смысле... Сегодня я у Фета виделся с самим Толстым, который, ссылаясь на одного немца, а также и на основании собственных соображений, доказывал, что земля не вращается вокруг солнца, а стоит неподвижно и есть единственное нам известное «твердое» тело, солнце же и прочие светила суть лишь куски света, летающие над землей по той причине, что свет не имеет веса...» Тут я так и слышу обычный неудержимо разнузданный смех Соловьева...

— Соловьев бывал в Хамовниках, ходил и Лев Николаевич к нему. Соловьев однажды написал Страхову, что лично совсем помирился с Толстым: «Он пришел ко мне объяснить некоторые свои странные поступки, а затем я провел у него целый вечер с большим удовольствием, и если он всегда будет такой, то буду посещать его».

— Потом он изложил Толстому «главный пункт» своего разномыслия с ним. Пункт этот был воскресение Христа. Но сколько было между ними всяких других разномыслий и вообще различий! Эта прихожая, эта лестница и зал хамовнического дома, сад при этом доме, всегда шумный от говора и смеха молодых Толстых, эта блуза Толстого с ременным пояском, за который он засовывал руки, его хмурое лицо с незабываемыми глазами, бесконечные разговоры о том, можно ли есть мясо, жарить кофе и не безнравственно ли помогать людям деньгами, и большой чайный стол, над которым озабоченно хлопотал молодой лакей, всех называвший сиятельствами... И эти бездомные скитания Соловьева по номерам и по домам знакомых, его длинная фигура в длинном сюртуке и макферлане, его подчеркнуто интеллигентский вид с отросшими по плечам волосами, его постоянные болезни, постоянные причастия и полное бесстрашие смерти... Все было слишком различно! Толстой утверждал, что вся религиозная система Соловьева, вся его вера была чисто головной. А Соловьев, сравнивая его с Достоевским, говорил о его непрямоте, о его неискренности...

Впоследствии я часто встречался и подружился с Ильей Львовичем. Это был веселый, жизнерадостный, очень беспутный и очень

талантливый по натуре человек. Он любил говорить об отце, много рассказывал мне о нем. Один его рассказ был замечателен. Он еще застал в живых чуть не столетнюю няньку отца, жившую потом при отце в его молодости и в годы семейной жизни, — это она написана под именем Агафьи Михайловны, няньки и друга Левина, — и наконец доживавшую свои последние дни в яснополянском доме в полном одиночестве в какой-то каморке.

— Что за старуха была, ты даже и представить себе не можешь, — рассказывал Илья Львович. — Лежу, говорит, в своем чуланчике, день и ночь одна-одинешенька, — только часы на перегородке постукивают. И все домогаются, все домогаются: «*Кто ты — что ты? Кто ты — что ты?*» Лежишь, слушаешь и все думаешь, думаешь: кто ж ты, в самом деле, что ты такое есть на свете? Отец был в совершенном восторге: да, да, повторял он, вот в этом и вся штука: кто ты, что ты?

Но и Илья Львович часто говорил общеизвестное.

— Ты знаешь, — говорил он мне во время великой войны, — ты, верно, удивишься, что я тебе скажу, а я все-таки думаю, что отец, если бы он был жив теперь, был бы в глубине души горячим патриотом, желал бы нашей победы над немцами, раз уж начата эта война. Проклинал бы ее, а все-таки со страстью следил бы за ней. Ведь у него всегда было семь пятниц на неделе, его никогда нельзя было понять до конца.

— Ты, как все, тоже хочешь сказать, что он был так переменчив, неустойчив?

— Да нет, не то. Я хочу сказать, что его и до сих пор не понимают, как следует. Ведь он состоял из Наташи Ростовой и Ерошки, из князя Андрея и Пьера, из старика Волконского и Каратаева, из княжны Марьи и Холстомера... Ты знаешь, конечно, что сказал ему Тургенев, прочитав «Холстомера»? «Лев Николаевич, теперь я вполне убежден, что вы были лошадью!» — Одним словом, его всегда надо было понимать как-то очень сложно...

— Он любил меня, — говорил Илья Львович. — И многое прощал. Знаешь, уехали мы, молодежь, однажды на охоту в отъезжее поле и до того допились, охотясь, что выдумали водку зеленями мерзлыми закусывать, а ходить на четвереньках, — будто мы волки... Ты не можешь себе представить, как отец хохотал, когда я ему это потом рассказывал!

Вспоминаю еще, как говорил в том же роде некто Сулержицкий, бывший в толстовском доме совсем своим:

— Да, Лев Николаевич непостижимый человек! Уж он ли не враг всякой военщины! А вернулся однажды в морозный зимний день с прогулки по Москве и еще из прихожей закричал мне своим старческим голосом: «Слушайте, каких я сейчас двух юнкеров на Кузнецком Мосту видел! Боже, что за молодцы! Что за фигуры! Какие литые шинели до самых пят, с разрезом сзади, до самого пояса! Какой рост, свежесть, сила — редкий молодой жеребец так прекрасен! И вдруг, как нарочно, навстречу им генерал... Если бы вы видели, как они вдруг, топнув и звякнув шпорами, мгновенно окаменели, как ударили руку к околышу и выкатили глаза! Ах, какое великолепие, какая прелесть!»

VIII

Лопатина была женщина в некоторых отношениях замечательная, но очень пристрастная. Воспроизвожу, однако, в полной точности то, что еще рассказывала она мне о нем, о его родных и близких и о той московской среде, к которой он принадлежал и в которой она выросла.

И я, как вы, узнала о Толстом очень рано, еще маленькой девочкой, — рассказывала она. — В нашей зале с роялью, стульями по стенам и висячими грустными лампами, — она так и сказала: «грустными лампами», — отец мой читал его новый роман в «Русском вестнике» моей матери. Долетали отдельные фразы, и я чувствовала, как странно хороши они!

Об Анне Карениной все у нас говорили по целым дням. Наконец Миша Соловьев, брат Владимира, принес Леве известие: «А знаешь? Анна Каренина бросилась под поезд!» Об этом тоже говорили, говорили, спорили, — совсем как о знакомом человеке.

Потом однажды зимним солнечным днем нахожу в кабинете отца, на полу перед полками библиотеки, растрепанную книжку в синей обертке. Беру в руки и как будто не читаю, а совершенно вижу грязную, изрытую дорогу и солдата в серой шинели, бегущего с бастиона с двумя ружьями на плечах...

«Севастопольские рассказы»! Я не могла равнодушно слышать даже это название. И когда поехала в первый раз в Крым, как поэтичен казался Севастополь! Он еще весь был в развалинах. На площадях и улицах с остовами домов так и казалось, что солдат ведет под уздцы тройку лошадей, офицер Михайлов, натягивая белую перчатку, поднимается в гору и по розовому на закате морю

разносятся звуки штраусовского вальса, который оркестр играет на бульваре... От звуков склянок на судах сжималось сердце, и было жаль, что были ночью крупные звезды, а не медленно летящие и светящиеся на темном небе гранаты...

Еще когда Толстые жили в Ясной Поляне, о них у нас много говорили. Особенно московские дамы.

Сидишь, бывало, и слушаешь разговоры родителей с какой-нибудь гостьей про страдания и трудность жизни Софьи Андреевны, «бедной Сони», про то, как, сообразно сменявшимся взглядам Льва Николаевича, изменялась вся жизнь ее детей: то иностранцы-гувернеры и строго-английское воспитание, то вдруг русские рубашки, даже будто бы лапти, общество крестьянских ребят и полная распущенность, а потом опять все сначала — англичанки, голые икры и банты...

В это время в Москве проживала весьма интересная и даже замечательная семья графа Олсуфьева. Принадлежавшая по своему происхождению и положению (граф был генерал свиты государя) к высшей петербургской аристократии и ко двору, семья эта, вследствие разных личных обстоятельств графини Анны Михайловны и перемены ее политических взглядов и умственных интересов, явилась в Москве одним из центров, объединявших ученую и профессорскую среду. Там всегда можно было встретить ученых позитивистического направления, художников, писателей. Там бывал и Толстой, которого графиня очень любила, — бывал не так, как прочие, а как друг, как человек, близкий по кругу и воспитанию.

В Мертвом переулке, в огромном особняке, снятом Олсуфьевыми для зимних приездов из подмосковной деревни, я и увидала его впервые.

В большой зале был накрыт длинный стол ослепительно белой скатертью, и два лакея, старый и молодой, во фраках, с хлопотливой озабоченностью расставляли на нем тарелочки с печеньями и тортами и раскладывали серебро. В гостиной играли маленькой компанией в карты. И вот он вдруг вошел своей легкой, молодой походкой, в мягких, беззвучных сапогах, в серой блузе с тонким ремешком-поясом, со своей большой бородой и непередаваемым, резко-неправильным, совершенно незабываемым лицом, с пронзительно-острыми, умными глазами. И глаза эти сразу (и уже на всю жизнь) показались мне жесткими, недобрыми, — такими, как определял их мой отец: «волчьи глаза». Потом уже всегда, когда он вдруг входил, мне делалось не по себе и жутко: будто в яркий солнечный

день открыли дверь в темный погреб. Меня ему представили просто: «Дочка», — и назвали моего отца. Он сказал: «Знаю», — и пожал мне руку. А я не верила себе, что вижу его, — того, кто мог написать небо над Аустерлицем, и Бородино, и мать в «Детстве», и свидание Анны с сыном.

Поздоровавшись с графиней и со всеми прочими, он тотчас же обратился к профессору (естественнику) Усову:

— Я вот все хотел спросить вас, Сергей Алексеевич, правда ли, что если укусит бешеная собака, то человек наверное умрет через шесть недель?

Усов ответил:

— Бывает, что умирают через шесть недель, бывает, что через несколько месяцев и через год, а говорят, и через много лет. Но можно и совсем не умереть. Далеко не все укушенные умирают.

— Ах, как это жалко, — с упрямым оживлением сказал Толстой. — Мне ужасно нравилась мысль, что умирают, это удивительно хорошо. Укусит собака, и знаешь наверное, что через шесть недель непременно умрешь, и руби всем правду в глаза, делай, что хочешь... А вы наверное знаете, что это не так? — упрямо спрашивал он.

Сколько раз потом при разговорах и спорах Толстого я слышала этот упрямый тон, эту его манеру говорить быстрее собеседника и видела эти глаза!

У Олсуфьевых как раз в это лето был переполох: бегала бешеная собака. Собаку никак не могли поймать, — успокоились только тогда, когда, наконец, явился однажды урядник и, вытянувшись и взяв под козырек, отрапортовал: «Имею честь доложить вашему сиятельству, что собака проследовала к станции Подсолнечной». А до того олсуфьевские мужики оставались совершенно равнодушны к собаке и не думали о том, чтобы поймать и убить ее.

— И прекрасно делали! — сказал Толстой.

И вдруг стал просто, спокойно, ярко рассказывать, как в бытность его на Кавказе у него сбесился легавый щенок Булька, как он лизал и хватал зубами его сапог...

В нашем кругу постоянно говорили не только о Толстом, но и о всей толстовской семье. Например, первый выезд Тани Толстой, ее первый бал (кажется, у князей Щербатовых) был предметом разговора даже у нас, у моих братьев со мной, хоть я еще ее не знала. Рассказывали бывшие на этом балу о ее простом белом платье, восхитительной улыбке, своеобразных, немного резких манерах, не

скрывавших милой застенчивости... Помнится, это был ее единственный бал. Скоро Лев Николаевич запретил ей выезды на балы. И когда потом был как-то бал у Беклемишевых, она забралась к ним в самом начале, в простом платье, — только посмотреть. Комнаты, еще холодные, ярко освещенные и полные запаха цветов, постепенно наполнялись огромным количеством московских барышень в воздушных платьях, в нарядных прическах и цветах, с меховыми накидками на обнаженных плечах... Таня с любопытством разглядывала всех.

— Какие вы все смешные! — наконец сказала она совсем по-толстовски. — Голые и в цветах!

Я познакомилась с нею тоже у Олсуфьевых — мы вместе отъезжали на масленичной тройке от их особняка в Мертвом переулке, ехали в Покровское-Глебово, где в оранжерее был приготовлен чай и музыка для танцев. Опять неожиданно, в бекеше, с палкой, появился Лев Николаевич, с своими пронзительно-жесткими глазами под нависшими бровями, — проводить ехавших, посмотреть, с кем села Таня и как она ведет себя. И это всех очень тронуло, — «точно совсем обыкновенный человек».

Весной того года, — до сих пор помню, на Николу, — выдался удивительный день. После пыли и сухой весенней жары вдруг пролилась первая сильная гроза. Под водосточные желоба подставляли кувшины, чтобы умываться, а потом ослепительно заиграло солнце в нашем маленьком саду с разрушающейся беседкой, в доме у нас открыли окна, мелкие почки на деревьях зазеленели, лужи засверкали, и старая наша няня с умилением сказала, вытирая подоконник: «Это Николай Угодник, для скотинки».

Я была тогда вся охвачена первым чувством любви, жизнь казалась мне необычайным, сделанным мною самой открытием, и я в этот день относилась с большим равнодушием к некоторому волнению в нашем доме: вечером у нас должен был быть Лев Николаевич.

Вечером он, в своей блузе, сидел в нашей чинной гостиной. Прочих гостей было немного. Говорили об искусстве, о том, что в то время писал он. Совестно сказать, но мне скоро сделалось скучно, я ушла в сад. Ночь была сырая и свежая, в саду резко пахло молодым тополем, небо было чистое и зеленое. Я никак не могла уйти из сада. То, что я чувствовала, казалось мне интереснее далее гениальных произведений Толстого.

Как он был скромен, серьезен, любезен в этот вечер!

За ужином чувствовалось, что прерванный разговор был долгий, горячий, и все были сдержанно-грустны и будто даже немножко чем-то обижены. Должно быть, перед ужином все убеждали Льва Николаевича писать художественное. Когда я пришла, один гость негромко, волнуясь, говорил:

— Боже мой, да сами ваши образы... ведь они сама истина и красота! Они открывают истину больше всех рассуждений и доказательств...

Толстой ответил совсем скромно:

— Покорно вас благодарю... это очень приятно... Но ведь это все так рассуждают. Это ведь и Немирович-Данченко думает, что спасает мир своими романами...

Я была дружна с Верочкой Толстой, дочерью графа Сергея Николаевича. С ней, кажется, и пришла в первый раз в Хамовники, в московский дом Толстых.

Дом Толстых был столь интересен, что бывать там было очень соблазнительно. Но то тяжелое, что было там, не искупалось для меня в то время этим интересом. Все или почти все Толстые были талантливы, своеобразны, остроумны. Но они ни на одну минуту не забывали, что они Толстые. Я никогда не слыхала, чтобы молодые Толстые восхищались какими-нибудь литературными произведениями, кроме толстовских. Все и всех они осуждали, говорили, что Тургенева и Гоголя впоследствии никто и читать не будет: велик только Толстой. А меж тем, когда стали вспоминать «Севастопольские рассказы», Таня вдруг сказала: «Я, правду сказать, их не читала...»

Большой толстовский сад в Хамовниках весною звенел смехом, гитарами, цыганскими песнями. Толстые были все очень музыкальны. Главный интерес молодых и главный предмет их разговоров была любовь, и говорили они о ней очень вольно, а иногда и прямо грубо, с толстовской смелостью. Кроме того, попавший туда не всегда чувствовал себя на месте, — того и гляди, зададут какой-нибудь неприятный вопрос. Если, например, придет человек с кривым носом и забудет об этом своем недостатке, то молодые Толстые напомнят ему об этом как раз тогда, когда ему это будет особенно неприятно.

Более других хотелось простить все это Тане, которая очаровывала своей привлекательностью и талантливостью. Она отлично изображала, например, обезьян. Раз страшно испугала меня, неожиданно и судорожно вцепившись мне в волосы, но так смешно

защелкала передними зубами и заморгала карими глазами, что нельзя было сердиться.

Софья Андреевна тоже говорила просто, живо и как бы искренне такие вещи, которых ни от кого другого услышать было нельзя. Говорили как-то о браке. Она сказала: «Брак, конечно, грех и падение, искупление его только дети». Однажды расспрашивала она меня об одной нашей общей знакомой. Я восхищалась ею. Софья Андреевна вдруг сказала: «Ну, да, да, я так и знала: восхитительная женщина! А меня вот прославили дурой по всей России. А кто ведет весь дом? Кто всех детей на ноги поставил?» Она не скрывала, что пишет роман, что-то вроде опровержения на «Крейцерову сонату». Таня, однако, без всякой почтительности заявила при ней: «Покуда мы живы, все, что пишет мама, напечатано не будет».

Один раз, когда два меньших Толстых ехали на переэкзаменовку, Лев Николаевич вышел к ним и сказал: «Пожалуйста, знайте, что вы мне доставите самое большое удовольствие, если оба провалитесь». Они не преминули доставить ему это удовольствие. А Софья Андреевна с раздражением говорила: «Господи, посмотришь, у самых обыкновенных людей дети и талантливые, и умные, и учатся. А мой-то гений каких народил!»

Софья Андреевна нравилась мне своей высокой, видной фигурой, черными, гладко зачесанными блестящими волосами, подвижным привлекательным лицом, выразительным крупным ртом, улыбкой и даже манерой присматриваться, щурить большие черные глаза. Настоящая женщина-мать, хлопотливая, задорная, постоянно защищающая свои семейные интересы, наседка! Дети нам рассказывали, как она ездила к императрице (хлопотать о снятии запрещения с «Крейцеровой сонаты») и как весь их разговор с императрицей сосредоточился на детях: каждая рассказывала о своих...

Кстати, еще о детях. Последний сын Софьи Андреевны, Ванечка, смерть которого она впоследствии так оплакивала, был прелестен. Живой, с умными толстовскими глазами, с типичной толстовской рожицей и милым смехом. Я увидела его в первый раз, когда одна наша общая с Толстыми приятельница забавлялась тем, что бросала его огромную куклу Тане на руки. Зрелище было странное, — точно летит человек, раскинув руки, и все со смехом смотрели на это. Ванечка улучил минуту, схватил куклу. «А я не дам! — вдруг решительно заявил он, упрямо и задорно улыбаясь. — Ни за что не дам!» И смотрел на всех глазами волчонка...

Старое поколение Толстых все было очень интересно. И граф Сергей Николаевич — брат Льва Николаевича, и графиня Мария Николаевна — их сестра, носили отпечаток необыкновенно выраженного толстовского типа. Нельзя было их забыть, раз увидевши, и после встречи лица их так и вставали перед глазами.

Сергей Николаевич, — Володя в «Детстве, отрочестве и юности», — семья которого была мне очень близка, был когда-то замечательно красив, судя по портрету-дагерротипу в круглой рамке, где он, стройный, обольстительный, был изображен в мундире-кафтане стрелка императорской фамилии. Да и в мое время он еще имел правильные черты, большие темные глаза, был худ и строен. У Марии Николаевны были те же резко толстовские черты, резкий рот с сильной челюстью, большие горячие глаза, умные и жесткие, в очках (и оттого даже страшные). Видна была в этих глазах и во всем ее живом лице и уме сильная духовность... и совершенно адовый характер.

Сергей Николаевич был женат на цыганке из хора, кажется, просто из табора: это была толстая, маленькая женщина, тихая, как бы забитая, привыкшая никогда не возражать мужу и тихо посмеиваться на его беспощадные шутки, религиозная и добрая, всегда с папироской.

У Сергея Николаевича было три дочери, все три последовательницы своего дяди, типа цыганского, настойчивые в своих поступках и взглядах, резвые и насмешливые. Со старшей, Верочкой, меня связывала долгая дружба.

В его усадьбе, в селе Пирогове, раскинувшемся на берегу реки, усыпанному избами на огромном пространстве, около старого дома и старого, совершенно темного липового парка с черными аллеями, в крошечной мазанке, выстроенной толстовцами для того, чтобы на одной десятине сеять вику и проводить в жизнь веру Льва Николаевича, я встречала прятавшихся от Сергея Николаевича странных людей, здоровых, неуклюжих, читавших книжки «Посредника», резонеров, говоривших скучно, сбивчиво и так упрямо и долго, что всегда хотелось поскорей уйти от них.

В Пирогове была и усадьба Марии Николаевны. Мы ездили и к ней, пили чай с крыжовником на ее балконе и говорили. Я любила ее за ум, и вера у нас была общая: она потом стала монахиней. Часто рассказывала она о себе, о братьях. У нее была какая-то пустошь с неудобным названием — Порточки. Она жаловалась, что в

молодости любимым занятием ее братьев было при гостях деловито спрашивать ее:

— Как это, Машенька, пустошь эта у тебя? Как она называется?

Сергей Николаевич, несмотря на то, что отлично знал мои убеждения, говорил иногда при мне:

— Это все прекрасно, что Левочка внушает мужикам, что «Иже Херувимы» — глупости и что слушать попов не надо, это все прекрасно. А вот, что он говорит им, что надо им всю землю отдать, и натравливает их на помещиков, это преступно, я ему всегда это говорю. Хозяйство и так вести невозможно, нынешний народ и без того развращен ужасно.

В своем отношении к Верочке он мне напоминал старика Болконского из «Войны и мира». Та же любовь к дочери, почти обожание ее и то же безжалостное мучительство. Говорили они между собой всегда по-английски.

Лев Николаевич нежно любил Марию Николаевну. Но у них постоянно бывали споры и ссоры. Когда она приходила к нему, тотчас подымался крик, шум, — воображаю, какие делались лица, какие страшные толстовские глаза! Кончалось тем, что Мария Николаевна вскакивала и убегала, а он бежал за ней, крича:

— Машенька, прости меня, Христа ради!

Зато бывало и другое: как просто, мягко, серьезно говорил и спорил он порой, всецело стараясь стать на точку зрения собеседника!

Как-то мы с Верочкой пустились рассуждать о любви и счастье, о жизни и морали. Он вошел в расстегнутом полушубке и валенках и стал расспрашивать, о чем мы говорим. Я, краснея, стала объяснять:

— Я говорю, что в жизни не имеет значения почти никакая проповедь. Только то, что человек сам переживет, перечувствует, перестрадает, может убедить его...

Он смотрел, присматривался, как бы примеряясь, стараясь что-то сообразить.

— Да, это главное, надо действовать примером, — сказал он наконец.

Раз в Хамовниках, среди множества гостей, он подошел ко мне.

— Вы исповедуетесь и причащаетесь? — вдруг спросил он.

Я знала, что все нас слушают, и вдвойне смутилась.

— Да, Лев Николаевич, исповедуюсь и причащаюсь.

Он пристально посмотрел на меня.

— А Михаил Николаевич, — спросил он про моего отца, — тоже верующий?

— Да, Лев Николаевич.

— И в церковь ходит?

— Да.

— И исповедуется и причащается?

— Каждый год.

Он вдруг задумался и ничего не сказал.

Однажды я имела смелость пуститься с ним в спор. Он возражал мне, вероятно, нарочно, но почему-то сердился. Я продолжала спорить, стала чувствовать, что путаюсь и делаю вообще глупость, побледнела и вдруг вижу знакомые гневные глаза и слышу его уже совсем запальчивый голос. Наконец я сказала, чтобы прекратить спор:

— Нет, я с вами не согласна.

Он вдруг замолчал и неприязненно посмотрел на меня.

— Вы ужасно похожи на великого князя Владимира Александровича, — вдруг сказал он. — Да. Ему раз на заседании Академии художеств что-то доказали, как дважды два четыре, он все выслушал, потом взял звонок: «А я с вами все-таки не согласен. Закрываю заседание». И позвонил.

Кончив спор, я поспешила уйти. Когда я была уже на площадке лестницы, он вдруг появился передо мной.

— Простите меня, Христа ради, — сказал он, кланяясь...

Отлучение его от церкви вызвало взрыв негодования и у людей, окружавших его, и у всех тех, совершенно равнодушных к вопросам церкви, которые видели в Толстом поддержку своим революционным настроениям.

Мне рассказывали, что в те дни весь дом в Хамовниках был полон выражениями сочувствия и подношениями и что сам Толстой будто бы «сидит весь в цветах и кощунствует так, что волосы дыбом становятся». Точно ли, однако, что это событие ничуть не задело его душевно? Все, что я узнала потом, доказывает другое. Про кощунственные места «Воскресения» он сам говорил впоследствии с краской стыда и боли: «Да, нехорошо, нехорошо я это сделал... не надо было...» Когда Сергей Николаевич мучительно умирал от рака щеки, он первый спросил его, не утешило ли бы его причастие? И сам пошел к священнику, звать его к брату. За новую вещь он, говорят, никогда не садился, не перекрестившись...

Время его ухода и смерти совпало со временем смерти нашей матери. И все-таки мы все горячо следили за известиями из Астапова и за тяжкими страданиями несчастной и больной Софьи Андреевны.

Один врач-психиатр сказал мне, что этот уход был началом воспаления в легких, что у стариков при этой болезни очень часто является потребность движения, стремления куда-то. Когда я рассказывала об этом, слушавшие, — «либералы», конечно, — ужасно возмущались:

— Низводить величие гения, бросившего жизнь, которая противоречила его убеждениям, на степень старческого заболевания — это непростительно!

IX

— Простота и царственность, внутреннее изящество и утонченность манер сливались у Толстого воедино. В рукопожатии его, в полужесте, которым он просил собеседника сесть, в том, как он слушал, во всем было гран-сеньорство... Я имел случай видеть вблизи коронованного денди, внешне крайне изящного Эдуарда VII английского, чарующе вкрадчивого Абдул-Гамида II, железного Бисмарка, умевшего очаровывать... Все они, каждый по-своему, производили сильное впечатление. Но в их обращении, в их манерах чувствовалось что-то привитое. У Толстого его гран-сеньорство составляло органическую часть его самого, и если бы меня спросили, кто самый светский человек, встреченный мной в жизни, то я назвал бы Толстого. Таков он был в обыкновенной беседе. Но чуть дело касалось мало-мальски серьезного, как этот гран-сеньор давал чувствовать свою вулканическую душу. Глаза его, трудно определимого цвета, вдруг становились синими, черными, серыми, карими, переливались всеми цветами...

Так сказал о нем один весьма «светский» человек. А сам он всю жизнь говорил про себя (то прямо, то от лица своих героев), что он человек неловкий, бестактный, стыдливый и самолюбивый «до поту», «озлобленно-застенчивый, ленивый, бесхарактерный, раздражительный», поминутно что-нибудь или кого-нибудь остро ненавидящий:

— Левин с ненавистью вглядывался в руки Гриневича с белыми длинными пальцами, с длинными желтыми, загибавшимися в конце ногтями...

Тот круг, который он так жестоко изображал и к которому принадлежал по рожденью, житейски был для него все-таки самым близким кругом. Когда я видел его в первый раз, я заметил, как он вдруг изменился, вспомнив моего отца, — то, что он встречался с ним в осажденном Севастополе, в этом «своем» кругу, — как оживленно стал расспрашивать: «Ведь вы, кажется, в родстве с такими-то? Такие-то вам тоже родственники?» Его секретарь Булгаков говорит: «Даже в старости Лев Николаевич был доступен сословным предрассудкам... Когда у его дочерей случались «романы» (невинные, конечно) с людьми «не нашего» круга, он бывал очень огорчен и недоволен, боялся мезальянса для них». О Черткове, по словам Булгакова, он высказывался в последние годы «либо в ограниченном, либо в отрицательном смысле». Может быть, одной из причин его привязанности к Черткову было то, что среди толстовцев почти один Чертков принадлежал к настоящему «нашему» кругу? В этом кругу некоторые ненавидели его (Толстого) с той же яростью, с которой крикнул однажды Андрей Львович: «Если бы я не был сыном его, я бы его повесил!» И все-таки этот круг считал его «своим». Впоследствии я встречался в Москве кое с кем из этого круга и видел, что там все-таки многие подчеркивали, что он «в сущности всегда был и остается барином», с гордостью говорили:

— Ах, все, кто знали его когда-то, иначе и не называют его, как бывший светский лев! Да он и теперь, несмотря на свои причуды, прежде всего светский человек и джентльмен с головы до ног, в обществе очарователен.

Лопатина без конца перечисляла эти «причуды».

— Вспоминая свою молодость, — говорила она, — то и дело вспоминаю его. Иду однажды по нашим переулкам, возле Староконюшенного, и встречаю его — идет с своей легавой собакой. Подходит, здоровается, идет со мной и тотчас начинает говорить о своем сыне Илюше: «Он поступает в Сумской полк вольноопределяющимся, а я ему говорю: иди в пехоту. Во-первых, если хочешь солдатского котла попробовать, это гораздо вернее будет; а потом — с его именем его там бы на руках носили». Подумайте, до чего было мне странно слышать от него такие речи! Все это казалось мне следствием его какой-то психической болезни. Хорошо сказал о нем наш кучер. Я раз ехала зимой и встретила его везущим на салазках обледенелую бочку с водой, и наш кучер, человек суровый и всегда пьяный, сказал мне: «Какой он черт граф! Он шальной». Да и правда. Как, например, проявлялось его безумие в его страсти к схваты-

ванью всяких ужасных и гадких черт жизни! Помните эту светлую точку, которую видел где-то впереди Иван Ильич, когда его, умирающего, будто бы впихивали в какой-то черный мешок? Ведь это взято из действительности: у одного из наших общих с Толстыми знакомых умер брат, и вот рассказывали, что он тоже все твердил перед смертью в бреду, что его совали в этот страшный мешок. Это прекрасно, разумеется, что Иван Ильич все-таки видел впереди эту светлую точку, которая «все ширилась», но верил ли сам Толстой в нее? По-моему, он верил только в черный мешок. «Левочка несчастный человек, — говорил про него его брат Сергей Николаевич. — Ведь как хорошо писал когда-то! Думаю, что лучше всех писал. А потом свихнулся. Недаром с самого детства помню его каким-то странным...» То же с великим сокрушением говорила и Марья Николаевна: «Ведь Левочка какой человек-то был? Совершенно замечательный! И как интересно писал! А вот теперь, как засел за свои толкования Евангелий, сил никаких нет! Верно, всегда был в нем бес». И это она совершенно убежденно говорила и, конечно, совершенно верно. Я-то в этом никогда не сомневалась. Вспоминаю, например, такой случай. На какой-то свадьбе один известный в Москве приват-доцент, сын ученого богослова-священника, опять общий наш с Толстыми знакомый, был пьян, и в церкви, подписавшись под брачным документом как свидетель, вошел в алтарь и положил его на престол. Ему сказали, что этого делать нельзя, что это — престол, а он в ответ такое кощунство сказал, что у всех волосы на голове зашевелились. Толстой же, когда ему рассказали об этом, не только пришел в дикий восторг, но всех тащил разделить с ним этот восторг. «Нет, подите сюда! Вы слышали?» И покатывался со смеху, хлопая себя по ляжкам: «Вот великолепно ответил!» Для меня это было и есть совершенно несомненным присутствием в нем беса...

— Он очень любил моего покойного брата Володю, — продолжала она. — Помню, был однажды на Святках вечер у Толстых в их Хамовническом доме, наехало к ним множество ряженых, и на верхней площадке лестницы стоял сам Лев Николаевич, всех встречая улыбками, запустив руку за ременный пояс блузы, и все ему низко кланялись, а потом что же оказалось? Каково было изумление всех, когда вдруг появился другой Толстой, настоящий, а в Володе все узнали загримированного Толстого! Больше всех был восхищен сам Лев Николаевич. Все повторял: «Это удивительно! Правда, вы, Владимир Михайлович, похожи на меня, но ведь я чуть

не втрое старше вас, так что надо быть просто огромным талантом, чтобы изобразить меня так, как вы!» Потом в Ясной Поляне любители играли «Плоды просвещения», Володя играл «третьего мужика», и Лев Николаевич опять осыпал его самыми неумеренными похвалами на репетициях: «Ах, какой талант! Ах, как вы мне объяснили этого мужика, я только теперь его понял как следует!» — и все дополнял рукопись «Плодов просвещения». Вы Володю знали, он был и впрямь очень талантлив, — недаром попал на старости лет в Художественный театр, — но он был еще и очень умный, проницательный человек. Так вот он всегда говорил мне: «Как это никто не видит, что Толстой переживает и всегда переживал ужасную трагедию, которая заключается прежде всего в том, что в нем сидит сто человек, совсем разных, и нет только одного: того, кто может верить в бога. В силу своего гения он хочет и должен верить, но органа, которым верят, ему не дано». Вы вот смеетесь над такими словами, а это сущая правда...

— Дети Толстые сначала ходили в церковь, а потом весело и легко (по крайней мере, с виду) оставляли и меняли свои верования. У Маши это было особенно заметно. Было у нее правило — ездить каждую субботу к одним знакомым, ночевать у них, чтобы утром идти вместе к обедне. Старшие уже смеялись над ней, но она упорно делала свое. Потом это вдруг пропало — с того времени, когда она вздумала было выйти замуж за одного из самых главных толстовцев. Что ж, все это было вполне понятно, все шло от отца. Смеяться над попами и называть Шекспира бездарностью стало как бы обязательным в толстовском доме, хотя тут надо оговориться. Однажды он сказал про Шекспира: «Мои дети его совсем не понимают, всего замечательного, что есть в Шекспире, они не могут, конечно, понять, схватывают только мои бранные слова о нем». То же надо сказать и насчет религии. Однажды мы гостили с Татьяной Львовной у Олсуфьевых, жили наверху, где был коридор с рядом комнат, как в гостинице. Как-то ночью я, уже засыпая, вдруг спросила ее: «Таня, а ты веришь в будущую жизнь?» Она отвечала бодро, не задумываясь: «Конечно, нет. Кто ж в такие глупости верит?» Но вот Лев Николаевич стал говорить совсем другое: будущая жизнь несомненно существует, но только ее нужно заслужить, ее дают «как Георгиевский крест». И все молодые Толстые стали повторять эти слова.

— И еще вспоминаю. Однажды Соня Самарина, которую называли самой привлекательной девушкой Москвы, с негодованием

говорила мне про него: «Лучше всего то, что, написав «Крейцерову сонату», он недавно во всеуслышание сокрушался, что Таня и Маша не выходят замуж! Так и говорил: «Чем же они хуже других, что их никто не берет?» Вполне сумасшедший человек. Семь пятниц на неделе».

— А то раз мы с Верочкой (дочерью Сергея Николаевича) неожиданно приехали в Ясную Поляну. Там на балконе обедали, за столом, как всегда, сидело множество народа. Лев Николаевич через весь стол стал спрашивать Верочку: «Ну, что у вас? Что папа?» Верочка, застенчивая, милая, до глупости правдивая, смутилась и забормотала: «Да ничего... То есть папа очень волнуется... Священниковы свиньи пришли в сад и все яблони подрыли...» Весь стол захохотал, захохотали и все Толстые, все эти толстовские глаза, челюсти и зубы, один Лев Николаевич вдруг стал очень серьезен и сказал, грустно и раздраженно: «Да, да, вам всем это кажется, конечно, очень смешно, а на самом деле ничего нет в этом смешного, это — жизнь, а все, что мешает жизни, очень тяжело!» Вот и поймите его после этого...

«Все эти толстовские глаза, челюсти и зубы». Совершенно замечательные слова.

X

«Волчьи глаза» — это неверно, но это выражает резкость впечатления от его глаз: их необычностью он действовал на всех и всегда, с молодости до старости (равно как и особенностью своей улыбки). Кроме того, что-то волчье в них могло казаться, — он иногда смотрел исподлобья, упорно.

Только на последних его портретах стали появляться кротость, покорность, благоволение, порой даже улыбка, ласковое веселье. Все прочие портреты, чуть не с отрочества до старости, поражают силой, серьезностью, строгостью, недоверчивостью, холодной или вызывающей презрительностью, недоброжелательностью, недовольством, печалью... Какие сумрачные, пристально-пытливые глаза, твердо сжатые зубы!

«Проницательность злобы», сказал он однажды по какому-то поводу, о чем-то или о ком-то. Это к нему неприложимо. Справедливо говорил он о себе: «Зол я никогда не был; на совести два, три поступка, которые тогда мучили; а жесток я не был». И все-таки, глядя на многие его портреты молодых и зрелых лет, невольно

вспоминаешь эту «проницательность злобы». «Дух отрицанья, дух сомненья», как когда-то говорили о нем, цитируя Пушкина, «разрушитель общепризнанных истин»... Для таких определений он дал столько оснований, что их и не перечислить. Вот у меня на столе его швейцарский дневник 1857 г. Всюду он верен себе: «Странная вещь! *из-за духа ли противоречия или вкусы мои противоположны вкусам большинства*, но в жизни моей ни одна знаменито прекрасная вещь мне не нравилась».

В зависимости от настроений, от той или иной душевной полосы, в которой он находился, — причем эти полосы чередовались у него, как известно, очень часто и резко, — или в зависимости от среды, в которой он был в данную минуту, он был то одним, то другим, и это тотчас сказывалось на всей его внешности; он сам говорил: «Как много значат общество и книги. С хорошими и дурными я совсем другой человек». Все же в портретах его молодости, зрелости и первых лет старости всегда есть нечто преобладающее, такое, что, во всяком случае, не назовешь добротой.

Вот портрет его студенческого, казанского времени: довольно плотный юноша, стриженный ежом, серьезное и недовольное лицо, в котором есть что-то бульдожье. Затем — офицерский портрет: стрижен тоже ежом, только более острым и высоким, лицо несколько удлиненное, с полубачками, взгляд холодный и надменный; на мундир накинута на плечи щегольская николаевская шинель со стоячим бобровым воротом. Полная противоположность этому портрету — другой офицерский портрет, по-моему, один из самых замечательных его портретов; тут очень мало общего с вышеназванными; это то время, когда он приехал в Петербург из Севастополя и вошел в литературную среду, ему под тридцать лет, он в артиллерийском мундире совсем простого вида, худ и широк в кости, снят до пояса, но легко угадываешь, что он высок, крепок и ловок; и красивое лицо, — красивое в своей сформированности, в своей солдатской простоте, тоже худое, с несколько выдающимися скулами и только с усами, редкими, загибающимися над углами рта и с небольшими умными глазами, сумрачно и грустно глядящими снизу вверх (от наклона головы).

Выйдя в отставку и живя в Петербурге и в Москве, он много времени отдавал светской жизни, балам, театрам, ночным кутежам, был франтом; тут опять нашла на него полоса вроде той, которую он пережил при вступлении в юность, когда он решил, что главное достоинство человека — быть человеком «comme il faut». Портрета

этой поры я не видел, думаю, что его и не существует. Но есть портрет следующей поры — времени его первой поездки за границу, пребывания в Париже и в Швейцарии. Это опять портрет человека красивого (как ни странно это слово в применении к нему): он все еще худ и молод лицом, хотя уже обложился небольшой бородкой; еще очень приятная своей молодостью нижняя губа чуть-чуть выдается, глаза глядят спокойно, несколько вопросительно, как бы выжидательно, заранее недоверчиво, и есть в них некоторая скорбность... Удивляет после этого портрета чтение его швейцарского дневника, одного из самых пленительных его произведений: столько в этом дневнике свежести, смелости, счастливой, поэтической прелести. На Женевском озере весной того года жила его родственница Александра Андреевна Толстая, с которой его связывала после того многолетняя дружба, было большое русское светское общество, в котором он «всех очаровывал своей детской веселостью и беспрестанными смешными выходками». Расставшись с этим обществом, он совершил двухнедельное пешее путешествие через горы до Фрибурга.

— Удивительно спокойное, гармоническое и христианское влияние здешней природы, — писал он в день выхода в это путешествие. — Погода была ясная, голубой, ярко-синий Леман с белыми и черными точками парусов и лодок почти с трех сторон сиял перед глазами; около Женевы, в дали яркого озера, дрожал и темнел жаркий воздух, на противоположном берегу круто поднимались зеленые Савойские горы с белыми домиками у подошвы, с расселинами скалы, имеющей вид громадной белой женщины в старинном костюме. Налево отчетливо и близко над рыжими виноградниками, в темной зеленой гуще фруктовых садов, виднелись Монтре с своей прилепившейся на полускате грациозной церковью; Вильнев на самом берегу с ярко блестящим на полуденном солнце железом домов; таинственное ущелье Вале с нагроможденными друг на друга горами, белый холодный Шильон над самой водой и воспетый островок, выдумано, но все-таки прекрасно торчащий против Вильнева. Озеро рябило, солнце прямо сверху ударяло на его голубую поверхность, и распущенные по озеру паруса, казалось, не двигались.

— Удивительное дело, я два месяца прожил в Clarens, но всякий раз, когда я утром или особенно перед вечером, после обеда, отворял ставни окна, на которое уже зашла тень, и взглядывал на озеро и на зеленые — и дальше синие — горы, отражавшиеся в нем, красота ослепляла меня и мгновенно с силой неожиданного

действовала на меня. Тотчас же мне хотелось любить, я даже чувствовал в себе любовь к себе и жалел о прошедшем, надеялся на будущее, и жить мне становилось радостно, хотелось жить долго, долго, и мысль о смерти получала детский поэтический ужас... Физическое впечатление, как красота, через глаза вливалось мне в душу...

— Я не умею говорить перед прощанием с людьми, которых я люблю*. Сказать, что я их люблю, — совестно, и отчего я не сказал этого прежде; говорить о пустяках тоже совестно... Наш милый кружок был расстроен и, верно, навсегда... Я почувствовал себя вдруг одиноким, и мне показалось так грустно, как будто это случилось со мной первый раз...

В этом дневнике, — где тут «волчьи глаза»? и почему даже и тут «мысль о смерти»? — он первый употребляет совсем новые для литературы того времени слова: «Вдруг нас поразил необыкновенный, *счастливый, белый* весенний запах...» «Все уже было черно кругом. Месяц светил на просторную поляну, потоки равномерно гудели в глуби оврага, белый запах нарциссов одуревающе был разлит в воздухе...»

Далее идут портреты как бы другого человека. Став мужем, семьянином, мировым посредником, неутомимым и расчетливым хозяином, возведя в культ помещичье дворянство, он принял барский вид той поры жизни, когда человек уже определился в семейном и общественном положении, находится в расцвете сил, живет деловито и самодовольно, в соответствии со своим привилегированным происхождением, увеличивающимся достатком, наследственными традициями: на этих портретах он опять отлично одет, на одном даже с цилиндром, позы у него непринужденные, гордокрасивые, глаза барски-презрительные, в небрежно брошенной руке папироса... Дивишься, глядя и на эти портреты: ведь в эти годы писалась «Война и мир» — Наташа и Петя Ростовы, Пьер и смерть «маленькой княгини», последняя встреча Наташи с князем Андреем, их любовь, его умирание... Дивишься и другому; всегда легко плакавший, он даже и в эти годы мог в любую минуту вдруг горячо и умиленно заплакать. Умиленность, нежность — слова опять будто странные в применении к нему. Но вот он пишет Софье Андреевне: «Ужасно люблю! Переношусь в прошедшее — Покровское, лиловое платье, чувство умиленности — и сердце бьется».

---

* Одна из важных черт его характера: он был очень застенчив. (*Прим. И. А. Бунина.*)

Пытливость, недоверчивость, строгость — откуда это?

— Чтобы быть приняту в число моих избранных читателей, я требую очень немного: чтобы вы (читатель) были чувствительны... были человек религиозный, чтобы вы, читая мою повесть, искали таких мест, которые задевают вас за сердце... Можно петь двояко: горлом или грудью. Горловой голос гораздо гибче грудного, но зато он не действует на душу... Ежели я даже в самой пустой мелодии услышу ноту, взятую полной грудью, у меня слезы невольно навертываются на глаза. То же самое и в литературе: можно писать из головы и из сердца... Я всегда останавливал себя, когда начинал писать из головы, и старался писать только из сердца...

Гете говорил: «Природа не допускает шуток, она всегда серьезна и строга, она всегда правда».

Толстой был как природа, был неизменно «серьезен» и безмерно «правдив».

«Герой моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, — правда».

Это было сказано им почти в самом начале его писательства, не раз было повторено и впоследствии, — «и в жизни и в искусстве нужно лишь одно — не лгать», — и совершенно приложимо ко всему творчеству и ко всей духовной жизни его. (Тут сказалось и наследство матери, от которой он вообще унаследовал очень многое. Он писал о ней: «Еще третья черта, выделявшая мою мать из ее среды, была правдивость и простота ее тона в письмах... В то время особенно были распространены в письмах выражения преувеличенных чувств».)

Гете говорил: «Людям нечего делать с мыслями и воззрениями. Они довольствуются тем, что есть слова. Это знал еще мой Мефистофель». И приводил слова Мефистофеля:

Коль скоро надобность в понятиях случится,
Их можно словом заменить...

Шопенгауэр говорил, что большинство людей выдает слова за мысли, большинство писателей мыслит только ради писания. Это можно применить ко многим даже очень большим писателям. Но вот уж к кому никак не применишь: к Толстому.

В смысле правдивости удивителен был даже язык его произведений, выделяющийся во всей русской литературе отсутствием

всяких беллетристических красот, готовых стилистических приемов, условностей, поражающий смелостью, нужностью, точной находчивостью каждого слова. В том же роде были и письма его, неизменно деловитые, прямые, естественные, и его простая, меткая устная речь. (Известный русский музыкант Гольденвейзер, целых пятнадцать лет бывавший в его доме и ведший записи о нем, дал, между прочим, целый список некоторых ее особенностей. Он отметил, например, что букву «г» Толстой произносил простонародно, с придыханием, почти как «х»; немало слов произносил на старинный лад — например, говорил: Штокгольм; употреблял много местных, тульских слов; любил выражаться народными поговорками; с мужиками говорил их языком, никогда, однако, не подлаживаясь под них, всегда говорил им «ты»... Гольденвейзер прав, только я, как земляк Толстого и принадлежавший к тому же деревенски-помещичьему быту, что и он, должен сделать тут оговорку: все эти особенности — наши общие, в нашем быту и в нашей местности так говорили почти все отцы и деды наши. Оговорю и утверждение Гольденвейзера, будто Толстой никогда не употреблял «грубых», «народных» слов; употреблял и даже очень свободно — так же, как все его сыновья и даже дочери, так же вообще, как все деревенские люди, употребляющие их чаще всего просто по привычке, не придавая им никакого значения и веса. Это подтверждают многие из близко знавших его. Один из них говорит: «В биографии Толстого, написанной его секретарем Гусевым, сказано, со слов доктора Маковицкого, что «ругаться Толстой вообще не мог». Но из дневников самого Льва Николаевича мы знаем, что в молодости, под сердитую руку, ему случалось побить крепостного человека. Неужели он мог делать это молча или приговаривая любезные слова? Это была бы уж не горячность, а несвойственная Толстому жестокость. Вообще Толстого нельзя было причислить к таким людям, у которых язык не поворачивается сказать грубое слово. Он и глубоким стариком, рассказывая какой-нибудь анекдот при дамах, способен был свободно произносить такие слова, которые обычно говорят только обиняком. Горький при первом знакомстве с Толстым даже обиделся, полагая, что это для него, для пролетария, Толстой говорил таким языком. Горький обиделся напрасно. Толстой, передавая, например, мужицкую речь, не стеснялся иногда самых грубых выражений и при всяких собеседниках».)

Возвращаясь к его внешности, повторяю то, что я сказал о своей первой встрече с ним:

«Едва я вхожу в залу, как в глубине ее, налево, тотчас же открывается маленькая дверка и оттуда быстро, с неуклюжей ловкостью, выдергивает ноги, выныривает большой седобородый старик. Быстрый, легкий, страшный, остроглазый, с насупленными бровями... И быстро идет прямо на меня, быстро (и немного приседая) подходит ко мне, ладонью вверх бросает руку, забирает в нее всю мою...»

Про последнее хочется сказать: зоологический жест. И дальше: «Он мягко жмет мою руку и неожиданно улыбается очаровательной улыбкой, ласковой и какой-то вместе с тем горестной, даже как бы жалостной, и я вижу, что эти маленькие серо-голубые глаза вовсе не страшные и не острые, а только по-звериному зоркие... Легкие и жидкие остатки серых, на концах слегка завивающихся волос, по-крестьянски разделены на прямой пробор, большие уши сидят необычно высоко, бугры бровных дуг надвинуты на глаза, борода, сухая, неровная, сквозная, позволяет видеть слегка выступающую нижнюю челюсть».

Это тоже надо отметить: нечто горестное, нечто жалостное в глазах и слегка выступающая челюсть.

Гольденвейзер сделал и другой список — перечень его физических особенностей. Отметил, между прочим, некоторый недостаток в его произношении: «Лев Николаевич пришепетывал... Не знаю, было ли это следствием старческого отсутствия зубов или Лев Николаевич говорил так всегда».

Я спрашивал Илью Львовича:

— Может быть, некоторая особенность произношения Льва Николаевича происходила от его несколько выступающей нижней челюсти?

— Вероятно. Это есть и у меня, и особенно у нашего старшего брата Сергея; мы с ним, мне кажется, вообще больше всего похожи с отцом физически. У Сергея нижняя челюсть выступает очень заметно. А наша походка? Ты прав, когда говоришь, что в отце было немножко гориллы. В нас этих черт, пожалуй, еще больше и выражаются они еще явственней. Я, совсем как отец, хожу быстро, почти бегаю и точно на пружинах, а Сергей приседает, пружинит уж совсем по-обезьяньи.

Гольденвейзер говорит: «Лев Николаевич ступал мягко, он широко расставлял в разные стороны носки и наступал сначала на пятку». Так ходила и мать Толстого (княжна Марья в «Войне и мире»): «Она вошла в комнату своей тяжелою походкой, ступая на

пятки». Эта поступь тоже совсем не случайная толстовская особенность.

Когда я видел его в последний раз, в Москве на Арбате, он уже стал старчески ссыхаться, уменьшаться. Но от природы он был выше среднего роста, — хорошо помню, что при первой нашей встрече я, пока он пожимал мне руку, глядел на него несколько снизу; а я среднего роста.

Он был широк в плечах и вообще в кости. Гольденвейзер говорит, что даже очень широк: «Когда мне однажды пришлось спать в его ночной рубашке, то плечи ее спускались мне почти до локтя». Но Гольденвейзер был телом невелик и щупл.

Он был близорук, но до самой смерти читал и писал без очков.

Говорил большею частью тихо, но, когда окликал кого-нибудь, всегда поражала звучность его голоса.

В молодости был очень силен. Силен и до старости. «Мы, — говорит Гольденвейзер, — раз пробовали, сидя за столом, опершись на стол локтями и взявшись рука в руку, пригибать к столу руку, — кто ниже пригнет чужую руку. Он одолел всех присутствующих». А это было всего за год до его смерти.

Руки у него были большие, деревенски-дворянские, «с крепкими, правильной формы ногтями», как правильно отметил Гольденвейзер.

Ел он поспешно, часто даже жадно. Ел обычно немного, но когда что нравилось, ел так неумеренно, что часто хворал после того. Не любил молока и рыбы, не ел того и другого и тогда, когда не был еще вегетарианцем.

Захворав, он всегда начинал беспрестанно и очень громко на весь дом зевать.

«Когда дядя Сережа вспоминал что-нибудь неприятное или чувствовал себя не совсем здоровым, он начинал громко кричать у себя в кабинете: Аааааа!»

Это рассказывает Александра Львовна о Сергее Николаевиче. И то же об отце:

— Ооох, ооох, ох! — вдруг слышались страшные крики из кабинета отца.

— Что это? Кто кричит? Лев Николаевич? Ему плохо? — со страхом спрашивали непривычные люди.

— Нет, — отвечали мы со смехом, — это Лев Николаевич зевает.

Известно, как любил он всякие физические упражнения. Очень любил купаться и купался до конца жизни. Помню, говорит

Гольденвейзер, когда я в первый раз пошел с ним купаться, я обратил внимание на очень большую родинку у него на правом боку. Плавал он как-то по-лягушечьи. Купался, как мужики, серьезно, не торопясь, деловито.

Он был в высшей степени смел, мужествен. «Я не могу представить себе его испуганным, — говорит Гольденвейзер. — Однажды зимой мы ехали с ним вдвоем в маленьких санках. Он правил. Начиналась метель, становилась все сильнее, так что наконец мы сбились с пути и ехали без дороги. Заметив вдалеке лесную сторожку, мы направились к ней, чтобы расспросить у лесника, как выбраться на дорогу. Когда мы подъехали к сторожке, на нас выскочили три или четыре огромных овчарки и с бешеным лаем окружили лошадь и сани. Он решительным движением передал мне вожжи, а сам встал, вышел из саней, громко гикнул и с пустыми руками пошел прямо на собак. И вдруг страшные собаки сразу стихли, расступились и дали ему дорогу, как власть имущему. Он спокойно прошел между ними и вошел в сторожку со своей развевающейся седой бородой».

В кавказских «делах» и в осажденном Севастополе он всегда вел себя не только храбро, но порой даже отчаянно. Однако панически боялся крыс; сидя однажды в севастопольских ложементах, вдруг выскочил наружу и кинулся на бастион, под ураганный обстрел неприятеля: увидал крысу.

Известно, какой он был страстный охотник*, как любил лошадей и собак. От охоты он отказался только в старости, страсть же к верховой езде сохранил до самой смерти и ездил удивительно. Садясь на лошадь, он весь преображался, сразу делался моложе, бодрей и крепче; в лошадях знал толк, как истинный знаток, хвалил их без критики редко. Что до собак, то не выносил их лая. Когда вблизи лаяла собака, он испытывал настоящее страдание. Загадочная черта, бывшая и у Гете, который относился к лаю собак даже мистически.

* Однажды он едва не погиб на медвежьей охоте. Правила такой охоты требуют отоптать вокруг себя снег на том месте, где стоишь, чтобы дать свободу движениям. Он и тут пренебрегает обычным: «Вздор, в медведя надо стрелять, а не ратоборствовать с ним» — и становится по пояс в снегу. Из лесу на него выскакивает громадная медведица, он стреляет в нее и промахивается, стреляет еще, в упор, но пуля застревает у нее в зубах, и она наваливается на него, — глубокий снег не дал ему возможности отскочить в сторону, — начинает грызть ему лоб; спасло его только то, что подбежал другой охотник и застрелил ее. (*Прим. И. А. Бунина.*)

— Лошади, верховая езда играли большую роль в нашей жизни, — говорит Александра Львовна.

«Если едешь с отцом верхом, так не растрепывайся! Ездил он оврагами, болотами, глухим лесом, по узеньким тропиночкам, не считаясь с препятствиями...

Если по дороге ручей, отец, не долго думая, посылает Делира, и он, как птица, перемахивает на другую сторону...

А то перемахнет ручей да в гору карьером. Тут деревья, кусты, того гляди, о ствол ударишься или веткой глаз выстегнешь.

— Ну? — кричит он, оглядываясь.

— Ничего, сижу.

— Держись крепче!

Один раз мы ехали с ним по Засеке. Подо мной была ленивая, тяжелая кобыла. Отец остановился в лесу и стал разговаривать с пильщиками. Лошадей кусали мухи, овода. Кобыла отбивалась ногами, махала хвостом, головой и вдруг, сразу поджав ноги, легла. Отец громко закричал. Каким-то чудом я выкатилась из-под лошади, и не успела еще подняться, как отец молодым, сильным движением ударил ее так, что она немедленно вскочила...

Мне было лет пятнадцать, когда он учил меня ездить.

— Ну-ка Саша, брось стремя! А ну-ка попробуй рысью!

Раз он упал вместе с лошадью. Лошадь, степная, горячая, испугалась, шарахнулась и упала. Отец, не выпуская поводьев, с страшной быстротой высвободил ногу из стремени и прежде лошади вскочил на ноги...»

И еще одна особенность, тоже значительная, — как он держал перо: не выставлял вперед ни одного пальца, а держал их все горсточкой и быстро и кругло вертел пером, почти не отрывая его от бумаги и не делая нажимов. Опять нечто «зоологическое».

Как связать со всем этим его редкую склонность к слезам? Эту склонность отмечают многие, знавшие его. Он легко плакал всю жизнь, только всего чаще не от горя, а когда рассказывал, слышал или читал что-нибудь — трогавшее его; плакал, слушая музыку. «От природы музыкальный и в молодости увлекавшийся игрой на фортепьянах, Лев Николаевич ни в какой мере не был музыкантом, но чуткостью к музыке обладал выдающейся. Не нравилось ему и оставляло его равнодушным иногда то, что с моей точки зрения было прекрасно, например музыка Вагнера, но что ему нравилось, было всегда действительно хорошо. Когда ему в музыке что-нибудь не нравилось особенно, например музыка Мусоргского, он

говорил: «Стыдно слушать!» Чрезвычайно любил русские народные песни, больше веселое, чем протяжное. Смеялся он довольно редко, но когда смеялся, то чаще всего тоже до слез.

Перечень его примет можно еще и еще пополнять. Но и этого достаточно, чтобы видеть, насколько первобытен был по своей физической и духовной основе тот, кто, при всей этой первобытности*, носил в себе столь удивительную полноту, сосредоточенность самого тонкого и самого богатого развития всего того, что приобрело человечество за всю свою историю на путях духа и мысли. Когда-то суть европейского мнения о нем очень недурно (в смысле европейской невежественности и самоуверенности) выразил Золя. Мнение это было, в общем, такое: да, крупный талант, но достаточно варварский, истое дитя своего крайне эмоционального народа, человек наивно мудрствующий, открывающий давно открытые Америки, путающийся в том, что уже давно распутано... «Наивности» в нем было в самом деле немало, давно открытые Америки он и правда открывал, — в чужие открытия плохо верил, — во многом, что людям, подобным Золя, казалось давно распутанным, он долго путался, эмоционален был чрезвычайно. Вот еще насчет музыки, — он про нее говорил так: «Если бы вся наша цивилизация полетела к чертовой матери, я не пожалел бы, а музыки мне было бы очень жаль... Я люблю Пушкина, Гоголя, но все-таки мне ни с одним искусством не было бы так жалко расстаться, умирая, как с музыкой...» От музыки он почти страдал, — «ощущения, вызываемые в нем музыкой, сопровождались бледностью лица и гримасой, выражавшей нечто похожее на ужас», — говорит в своих воспоминаниях Берс, брат Софьи Андреевны.

XI

«Чтобы быть приняту в число моих избранных читателей, я требую, чтобы вы были чувствительны, были человек религиозный...»

---

* На кумыс в Башкирию он ездил не только для поправления своих легких и отдыха от всяких своих работ, но и хотя бы временного освобождения от того мучительного бремени, которым всегда была для него городская жизнь: «от времени до времени он испытывал особенную тягу к природе и *к первобытному существованию*». И в Башкирии воскресал и душевно и телесно с необыкновенной быстротой. (*Прим. И. А. Бунина.*)

«Было время, когда я тщеславился моим умом, моим именем, но теперь я знаю, что если есть во мне что-нибудь хорошего, то это доброе сердце, чувствительное и способное любить...»

«Я Дорку (собаку) полюбил за то, что она не эгоистка. Как бы выучиться так жить, чтобы всегда радоваться счастью других?»

С годами его «чувствительность» возрастала все более и более, в конце жизни дошла до крайней степени.

— Подходя к Овсянникову, смотрел на прелестный солнечный закат. В нагроможденных облаках просвет, а там, как красный раскаленный уголь, солнце. И все это над лесом. Рожь. Радостно. И думал: нет, этот мир — не шутка, не юдоль испытания только и перехода в мир лучший, вечный, а это один из вечных миров, который прекрасен, радостен и который мы не только можем, но должны сделать прекраснее для живущих с нами и для тех, которые после нас будут жить в нем...

— Ехал через лес Тургенева, вечерней зарей: свежая зелень в лесу под ногами, звезды в небе, запахи цветущей ракиты, вянущего березового листа, звуки соловьев, шум жуков, кукушка, — кукушка и уединение, и приятное под тобой, бодрое движение лошади, и физическое и душевное здоровье. И я думал, как думаю беспрестанно, о смерти. И так мне ясно стало, что так же хорошо, хотя по-другому, будет на той стороне смерти... Мне ясно было, что там будет так же хорошо, нет, лучше. *Я постарался вызвать в себе сомнение в той жизни, как бывало прежде, и не мог, как прежде, но мог вызвать в себе уверенность...*

«Мне казалось, — вспоминает Александра Львовна, — что обычное свойство отца — радоваться жизни, цветам, деревьям, детям, всему, всему, что окружало его, — усилилось в нем после болезней в Крыму. Как сейчас вижу, идет из леса. Белая блуза мешком сидит на похудевшем теле, воротник отстал, торчат ключицы, он идет без шляпы, пушатся на голове мягкие волосы.

— Вот посмотри, что я принес, — говорит он, весело улыбаясь.

Я заглядываю в шляпу. Там аккуратно на лопушке положено несколько грибов.

— Ты понюхай, понюхай только, как пахнут!

Постепенно силы его прибывали... Помню, как в первый раз после болезни он поехал верхом на только что купленной мною лошади. Он с трудом поднял левую ногу в стремя, с усилием перекинул свое тело, лошадь загорячилась, и он скрылся по «пришпекту». Я не находила себе места. Мне казалось, что отец не справится с молодой, горячей лошадью, я с нетерпением ждала его возвращения.

— А я на Козловке был! — весело крикнул он мне, подъезжая к дому.

И как только я увидела его, я поняла, что напрасно волновалась. Делир шел спокойным, ровным шагом...

Отец любил цветы, всегда собирал их без листьев, тесно прижимая один к другому. Когда я делала ему букеты по-своему, прибавляя в них зелени и свободно расставляя цветы, ему не нравилось:

— Это ни к чему, надо проще...

Он первый приносил едва распустившиеся фиалки, незабудки, ландыши, радовался на них, давал всем нюхать. Особенно любил он незабудки и повилику, огорчался, что повилику неудобно ставить в воду — стебельки слишком коротки.

— Понюхай, как тонко пахнет, горьким миндалем, чувствуешь? А оттенки-то какие, ты посмотри!»

Повторяю: теперь, когда прошла целая четверть века со времени его смерти и, под влиянием множества всяких новых свидетельств о нем, образ его подвергся большому пересмотру, теперь всем кажется, что этот образ установлен уже точно, беспристрастно и полно, что не только все главные его черты, но и самая сущность определены, угаданы. Но нет, — некоторые новые черты этого образа, наконец-то замеченные и усвоенные, еще не поколебали прежнего представления о нем. Все те же «волчьи глаза», все тот же «великий грешник». «Апостол любви» — это только красноречие в торжественные дни поминовений его. Да и то не всегда обязательное. Вот, например, совсем недавняя статья Амфитеатрова, одного из старейших и образованнейших русских писателей. «Во всех странах и народах славен Толстой, — говорит он, — на всех языках, имеющих письменность, написано о нем видимо-невидимо...» Да, написано немало и все еще пишется, но что и как? Амфитеатров с восхищением излагает «огромный и превосходный труд», посвященный Толстому к двадцатипятилетию со времени его смерти известным итальянским беллетристом и поэтом Чинелли. Кто же такой, по мнению Чинелли, Толстой? Мнение это — типичный образец того, что и до сих пор думает о Толстом большинство просвещенных людей «во всех странах и народах».

— Толстой — не пророк, не святой, все в нем — человеческое, здоровое, нормальное...

— Когда продумываешь его пути, его Голгофу, все думаешь по контрасту о самом счастливом и самом святом из людей — Сан-Франческо д'Ассизи...

Если все в Толстом кажется Чинелли таким «человеческим, здоровым, нормальным», то почему он говорит о Голгофе? Проходят ли через Голгофу «здоровые, нормальные» люди? Если Толстой «не пророк, не святой», зачем Чинелли проводит параллели между Толстым и святым? Это тем более непонятно, что еще никто не канонизировал Толстого во святые. Да если бы и был он канонизирован, почему непременно надлежало бы ему быть похожим на Сан-Франческо д'Ассизи? Великое множество святых не похоже на святого Франческо. Понятно одно: святой Франческо понадобился Чинелли для хулы на Толстого. Начать с того, говорит он, что еще в юности и без всяких размышлений, колебаний бросил Франческо и родной дом, и семью, и все мирские блага, все прелести и соблазны земные, а Толстой «опростился» только в старости, ушел от той роскоши, в которой провел весь свой долгий век, только перед смертью... Да, начать хотя бы с этого. По всему свету еще держится убеждение, что, невзирая на все свои «опрощения», несмотря на все свои отказы от всякого барства и богатства, жил Толстой все-таки всегда в барстве, в богатстве. Но в легенде об этом барстве и богатстве, равно как и в легенде о великой греховности Толстого, повинен прежде всего он сам: чего только не наговаривал, он на себя!* Никто не помнит этих скромных слов: «Зол я никогда не был; на совести два, три поступка, которые тогда мучили; но жесток я не был». Но как не помнить того страшного, что говорил он о годах своей молодости и средней поре жизни?

— Без ужаса, омерзения и боли сердечной не могу вспомнить об этих годах... Я убивал людей на войне, вызывал на дуэль, чтобы убить; проигрывал в карты, проедал труды мужиков; казнил их, блудил, обманывал. Ложь, воровство, любодеяние всех родов, насилие, убийство... Не было преступления, которого бы я не совершал...

---

* Он сам виноват, между прочим, и в том совершенно нелепом мнении, которое утвердилось за ним как о художественном критике: «Ни в грош не ставил Шекспира и восхищался бездарным писателем из народа Семеновым!» Семенов стал знаменит в этом смысле. Но вот несколько строк из одних воспоминаний насчет этого Семенова:

«Однажды Л. Н. неожиданно вошел в залу, где читали вслух рассказ Семенова.

— Как фальшиво! Ах, как фальшиво! — сказал он, морщась.

Но, дослушав до конца, где говорилось о развращающем влиянии города на чистую деревенскую душу, он вдруг с особым жаром стал расхваливать рассказ: заставил себя расхваливать». (*Прим. И. А. Бунина.*)

«Роскошь» и слабость к ней он приписывал себе тоже сам, собственной рукой: «Я покорился совершенно соблазнам судьбы и живу в роскоши...» Сколько раз писал он это? Без числа, без всякой меры. А меж тем есть ли и в этой фразе хоть одно точное слово? «Покорился» — неправда: мучился «роскошью» своей жизни ужасно, с мыслью бежать от нее не расставался целые десятилетия и осуществить ее не мог единственно потому, что на этот, по его словам, эгоистический, бесчеловечный но отношению к семье шаг не хватало безжалостности. «Соблазны судьбы» — тоже неправда: кто мало-мальски знает его жизненный обиход, тому слово «соблазны» просто смешно. «Весь век прожил в богатстве...» Но Толстые никогда не были богаты. Бабка Толстого по отцу была, как говорит он в своих воспоминаниях, дочь «скопившего большое состояние слепого князя Горчакова». Но дед (Илья Андреевич Толстой) промотал и свое, и то, что он взял в приданое за ней. Он был «не только щедрый, но бестолково-мотоватый, а главное, доверчивый... В его имении шло непрестанное пиршество, театры, балы, обеды, которые, в особенности, при страсти деда играть по большой в ломбер и вист, не умея играть, и при готовности давать всем, кто просил, и взаймы и без отдачи, кончилось тем, что большое имение его жены все было так запутано в долгах, что жить было нечем, и он должен был выхлопотать себе место губернатора в Казани». Дед по матери (Николай Сергеевич Волконский) был весьма состоятелен, но большая часть того приданого, которое взял Николай Ильич за Марией Николаевной, ушла на покрытие долгов Ильи Андреевича. Из имений у Николая Ильича осталась только Ясная Поляна, но и Ясную Поляну унаследовал он не от отца, а взял в приданое за женой. Короче сказать, родился и вырос этот богач в бедности, молодым терпел настоящую нужду; в зрелые годы, когда уже считал себя довольно обеспеченным, в отчаяние приходил из-за какой-нибудь лишней грошовой траты, — как Левин, проевший и пропивший с Облонским в ресторане «целых» семь рублей, — а что за «роскошь» окружала его старость, видно, например, из записей его друга Буланже, в 1901 году сопровождавшего его, больного, на поправку в Крым, где он был приглашен жить у графини Паниной: «Почти со страхом глядел на ее дом Лев Николаевич, привыкший к простой, скромной, чтобы не сказать бедной, обстановке Ясной Поляны, где полы были во многих комнатах некрашеные, рамы в окнах гнилые, с облезлой краской...» Те же чувства, что и отец, испытала в этом доме и Александра Львовна, тоже сопровождавшая

его в Крым: «Поразила роскошь дворца. Я никогда в таком доме не жила. Было неловко и неуютно: мраморные подоконники, резные двери, тяжелая дорогая мебель, большие высокие комнаты...» Тут, кстати, надо сделать еще одну поправку — насчет его опрощения в одежде. Этому опрощению почему-то придали и теперь еще придают совсем незаслуженное значение. Как все деревенские дворяне, он и до опрощения носил зимой (даже иногда и в городе) тот самый полушубок, который впоследствии сделали столь знаменитым; носил и длинные сапоги, и блузу, и валенки; порой и косил, пахал. Но вот стали всему этому дивиться. Почему? Анатоль Франс в полушубке, Марсель Пруст с косой в руках, Бодлер за сохой, разумеется, были бы удивительны. Но Толстой? Впрочем, я понимаю, например, Мережковского, который в своей книге («Толстой и Достоевский») посвятил этому полушубку (и косе и пиле, стоявшим в рабочей комнате Толстого) столько наивных страниц: трудно найти даже среди нынешних русских писателей более типичного городского человека, чем Мережковский, отроду никогда не видавший, вероятно, собственными глазами ни косы, ни пилы, — недаром он называет пилу напильником...

— Франческо, — говорит Чинелли дальше, — был человек веселый, он пел, учил радости. А Лев...

А что «Лев»? «Лев» записал однажды, уже в старости: «Слушал политические рассуждения, споры и вышел в другую комнату, где с гитарой играли и пели, и ясно почувствовал святость веселья».

— Лев маялся смертной мукой в своей рассудочной борьбе с красотой и природой... Лев тоже имел от Бога дар понимать природу. И он наслаждался ею. Но ему было мало того: в своей человеческой гордыне он не мог помириться на непосредственном восприятии наслаждения, хотел вникать и познавать... Оба, Франческо и Лев, любили животных. Но как разно! Лев, смолоду великий охотник, должен был наложить на себя зарок не убивать животных. А Франческо...

Опять можно напомнить Чинелли: множество святых прошли через это — хотели «вникать и познавать». А что до охоты, то и святой Евстафий был отличен от Франческо, — был «великий ловец» и тоже «должен был наложить на себя зарок не убивать животных». И не один Евстафий: еще, например, Юлиан Милостивый...

Слово за словом повторяет Чинелли те злые и упорные в искажении действительности мнения о Толстом, на которых основана

вражда и даже ненависть к нему еще очень, очень большого числа людей. «Мое истинное «я» презираемо окружающими», — горько говорил он в старости, записывая свои «дни и дела» в Ясной Поляне. Это «я» было «презираемо» не только некоторыми из окружавших его в Ясной Поляне, но и тысячами тысяч из тех, которыми окружала его и Россия, и Европа, и Америка. «Презираемо» и до сих пор. Я не выбирал Чинелли — я случайно узнал о его «громадном и превосходном труде» от Амфитеатрова и увидал, сколь Чинелли не случаен, сколь он типичен. Вот хотя бы то, как сошлись на вражде к Толстому молодой итальянский писатель и старый русский. Русский писатель должен был бы знать и понимать Толстого во сто раз лучше всякого иностранного. Но вот — полное единодушие, такое, что чем дальше читаешь статью Амфитеатрова, тем все меньше понимаешь, кто говорит: Амфитеатров или Чинелли?

Амфитеатров говорит:

— В любви к женщине и в бунте против этой любви — весь Толстой. Он так много любил, что перелюбил. И как он любил? Никто не любил более по-человечески, менее духовно, чем он. И как скоро ударил час его телесного упадка, он, в озлоблении, что теряет телесную силу, которая роднила его с матерью-землей, озлобился на целых тридцать лет, стал, грязно ругаясь, старчески бунтуя, — вспомните мрачную похоть о. Сергия, — проповедовать безусловное целомудрие.

То же говорит и Чинелли:

«В устах Толстого проповедь чистоты, целомудрия есть только повелительное насилие, обличительная полемика, ругательное и самое непристойное издевательство над жизнью и природой...»

Никак не стоило бы цитировать эту клевету, будь она случайна, принадлежи она только какому-то Чинелли. Но разве один Чинелли забывает все те страстные, сердечные, с самой ранней молодости присущие Толстому стремления именно к чистоте, к целомудрию, то, с каким ужасом, — с ужасом даже как бы мистики грехопадения, — всегда писал он о потере юношеской невинности? Он писал об этом в юности («Как гибнет любовь»), писал в годы мужества, — например, о том, как Николай Ростов, еще не знавший женщин, поехал с Денисовым к какой-то гречанке: «Он ехал как будто на совершение одного из самых преступных и безвозвратных поступков... Он чувствовал, что наступает та решительная минута, о которой он думал, колеблясь, тысячу раз... Он дрожал от страха, сердился на себя и чувствовал, что он делает безвозвратный шаг в

жизни, что что-то преступное, ужасное совершается в эту минуту...» О чувствах Ростова после падения он писал еще мучительнее: «Он проснулся и все плакал и плакал слезами стыда и раскаяния о своем падении, навеки отделившем его от Сони», — точнее, от той женщины, которая представлялась ему идеалом его любви и которую нельзя было определить: «Была ли то мечта первой любви или воспоминание нежности матери, не знаю, — не знаю, кто была эта женщина, но в ней было все, что любят, и к ней сладко и больно тянула непреодолимая сила...» Все эти строки можно прочесть в набросках, не вошедших в «Войну и мир» по несоответствию их слишком лирического тона с общим тоном романа. Но эта лирика всегда жила в толстовской душе, — до глубокой старости:

— Еще думал нынче о прелести — именно прелести — зарождающейся любви. Это вроде того, как пахнет вдруг запах зацветающей липы или начинающая падать тень от луны...

И вот, после таких строк, читаешь: «В устах Толстого проповедь чистоты, целомудрия есть только повелительное насилие, обличительная полемика...» Однако можно ли строго судить всех этих Чинелли? Не сам ли человек вопиял так долго и отчаянно, что он почти всю свою жизнь совершал «любодеяние всех родов»! Да не отставали от него и его друзья, знакомые. Покойный Боборыкин рассказывал мне:

— Некрасов, которого, кстати сказать, Толстой считал одним из самых умных людей, каких он когда-либо встречал, Некрасов называл Толстого великим сладострастником, и я Толстому это не раз напоминал. Как только начнет он меня допекать, как мы все гадко живем, как мало о душе думаем, я ему сейчас: это вам, Лев Николаевич, надо спасаться по великим грехам вашим, а мне что? Меня и так с распростертыми объятиями в рай примут: Петр Дмитриевич, дорогой, пожалуйте, вы за всю жизнь лишнего стакана вина не выпили, не то что Толстой! Я, Лев Николаевич, подобно вам и Будде, не отрекался ни от жены, ни от царства, зато, надеюсь, и не умру, как Будда, который, достигнув всяческой святости, восьмидесяти лет от роду, вдруг объелся однажды в жаркий день свининой у знакомого кожевника, а после того не удержался еще и от другого искушения, — искупался в речке, за что и отдал в тот же вечер богу душу...

«Великий сладострастник», «по великим грехам вашим...». Да, откуда все это? Великая страстность натуры Толстого неоспорима, величайшая острота его чувствования всяческой плоти земной —

тоже; но «сладострастие», если понимать это слово в обычном смысле? И где можно найти в жизни Толстого фактические доказательства проявления его «великой сладострастности»? Все в один голос твердят еще и до сих пор, что он провел «очень бурную молодость». Но что же в ней было особенного, какие такие бури? О начале ее он писал так: «Я усвоил себе восторженное обожание идеала добродетели и убеждение в назначении человека постоянно совершенствоваться... Я ставил себе за правило: читать каждый день целый час Евангелие, отдавать одну десятую из всех своих денег бедным, отыскивать их... самому убирать свою комнату и держать ее в удивительной чистоте, человека же ничего для себя не заставлять делать: ведь он такой же, как и я... в университет ходить пешком... Вообще жить разумной, нравственной, безупречной жизнью...» Исчезло ли это «восторженное обожание добродетели» в последующие годы? Да, иногда азартно играл в карты, иногда ездил к цыганкам... потом имел две связи до женитьбы... был влюблен в Молоствову, в Арсеньеву... Но ужели это «бури»!

Боборыкин, на вопрос о фактических доказательствах «великого сладострастия» Толстого, отвечал:

— Этих доказательств сколько угодно. И, прежде всего, — в его собственных исповедях о своей молодости, ну, хотя бы в тех ужасных дневниках, которые он имел какую-то извращенную жестокость дать прочитать Софье Андреевне, несчастной девочке, накануне своей свадьбы с ней.

Исповеди, дневники... Все-таки надо уметь читать их. «Ложь, воровство, любодеяние всех родов, пьянство, насилие, убийство... не было преступления, которого я бы не совершал...» Баснословный злодей!

XII

Булгаков, последний секретарь Толстого, подчеркивает в одном месте своих записей о нем чрезвычайность его страсти узнавать душевные тайны людей: страсть эта всем известна, говорит он, но едва ли кто знает, что Лев Николаевич доходил в этой страсти даже до подслушивания под дверями.

Подчеркивает он и чрезвычайность его внимания и «его строгости ко всем явлениям» любви между мужчиной и женщиной. Он, говорит Булгаков, был сторонником полного целомудрия мужчины и женщины, видел в их телесных отношениях, даже брачных,

нечто нечистое, нечто унижающее человека. Один раз, говорит Булгаков, я прочел в только что написанном письме его к некоей Петровской такую фразу:

— Ни в одном грехе я не чувствую себя столь гадким и виноватым, как в этом, и потому, вероятно, ошибочно или нет, но считаю этот грех против целомудрия одним из самых губительных для жизни...

Запомнилось Булгакову и еще одно толстовское письмо:

— Вы говорите, что существо человеческое слагается из духовного и телесного начала. И это совершенно справедливо; но несправедливо то ваше предположение, что благо предназначено и духовному и телесному началу... Благо свойственно только духовному началу и состоит не в чем ином, как все в большем и большем освобождении от тела, обреченного на зло, единственно препятствующего достижению блага духовного начала...

Все убеждены, что так относился он к «телесному началу» только в старости. Повторяю, — от всякого можно услышать: «Все это следствие всем известных причин: той бурной чувственности, в которой прошла его молодость, той редкой мужской страсти, результатом которой было рождение им тринадцати человек детей, той силы, с которой говорил он всегда обо всем телесном...»

Что до детей, то их было даже не тринадцать, а четырнадцать. Летом 1909 года он сам записал об этом:

— Посмотрел на босые ноги (женские), вспомнил Аксинью, то, что она жива, и, говорят, Ермил мой сын (от нее)...

Эта Аксинья вообще может быть большим козырем в руках тех, что убеждены в большой «греховности» его. Это Аксинья побудила его писать в старости «Дьявола» и некоторые строки в других произведениях той же поры с беспримерной для таких лет остротой телесно-любовных чувств. В том же 1909 году Софья Андреевна переписывала его новый рассказ «Кто убийцы?» и записала:

— Тема — революционеры, казни и происхождение всего этого. Могло быть интересно. Но все те же приемы — описание мужицкой жизни. Смакование *сильного* женского стана с загорелыми ногами девки, то, что когда-то так сильно соблазнило его; та же Аксинья с блестящими глазами, почти бессознательно теперь, в 80 лет, снова поднявшаяся из глубины воспоминаний и ощущений прежних лет. Аксинья была баба яснополянская, последняя до женитьбы любовница Льва Николаевича...

Об этой Аксинье Софья Андреевна писала и в самом начале своей замужней жизни, через несколько месяцев после своей свадьбы. Аксинья вместе с другой яснополянской бабой мыла у Толстых полы, и вот Софья Андреевна писала: «Влюблен, как никогда! И просто баба, толстая, белая, — ужасно. Я с таким удовольствием смотрела на кинжал, ружья...» Аксинья была «последняя до женитьбы любовница Льва Николаевича». Значит, были и другие: он и сам об этом говорил: «В молодости я вел очень дурную жизнь, а два события этой жизни особенно и до сих пор мучают меня... Эти события были: связь с крестьянской женщиной из нашей деревни до моей женитьбы, — на это есть намек в моем рассказе «Дьявол». Второе — это преступление, которое я совершил с горничной Гашей, жившей в доме моей тетки. Она была невинна, я ее соблазнил, ее прогнали, и она погибла», — как Катюша Маслова в «Воскресении». Тут всякий может мне сказать: каких вам нужно еще доказательств его чувственности, раз он сам писал про Аксинью в пору своей связи с ней, что у него к ней «чувство оленя»? Он писал Черткову и еще об одной женщине; это была его кухарка Домна, страстью к которой он «страдал ужасно, боролся и чувствовал свое бессилие». И заметьте, скажут мне, какая необыкновенная памятливость чувств, — на протяжении целых десятилетий, до самой глубокой старости, хранить в себе такую свежесть их, при которой только и возможно то «дьявольское» очарование, с которым написаны местами и «Дьявол», и начало любви Нехлюдова и Катюши. Вспомните и все его прежние изумительные изображения всего материального, плотского — и в природе и в человеке: например, эту «бездну» зверей, птиц, насекомых в жарких лесах над Тереком, дядю Ерошку, Марианку, Лукашку, убитого им абрека... «мертвое, ходившее по свету тело» князя Серпуховского из «Холстомера», то, как Стива Облонский, просыпаясь, поворачивал на диване свое холеное тело... тело жирного Васеньки Весловского... тело Анны, тело Вронского и их страшное телесное падение («как палач смотрит на тело своей жертвы», смотрел Вронский на Анну после этого падения)... А тело Элен? А «белая нога» раненого и вопящего при ампутации ее брата? А Трухачевский из «Крейцеровой сонаты», так плотоядно, жадно охватывающий своими красными губами баранью котлетку? Тело, тело, тело... Князя Андрея, смертельно раненного под Бородиным, приносят на перевязочный пункт, — и вот опять и опять оно: «Все, что он видел вокруг себя, слилось для него в одно общее впечатление обнаженного, окровавленного

человеческого тела, которое, казалось, наполняло всю низкую палатку, как несколько недель тому назад, в этот жаркий августовский день, это же тело наполняло грязный пруд на смоленской дороге. Да, это было то самое тело, та самая chair à canon*, вид которой еще тогда, как бы предсказывая теперешнее, возбудил в нем ужас».

Что возразить на это?

Еще могут сказать: «Толстой, конечно, преувеличивал свою сладострастность, свою греховность в своих покаянных исповедях; но как же все-таки отрицать и как объяснить его редкое внимание ко всяческой земной плоти и, в частности, к человеческому телу, — к женскому, может быть, в особенности?» Я не отрицаю, я даже готов опять привести эту запись:

— Ехал мимо закут. Вспомнил ночи, которые проводил там, и молодость, и красоту Дуняши (я никогда не был в связи с ней), сильное женское тело ее. Где оно?

Тут еще раз оно, это «сильное женское тело». Но ведь какая глубокая грусть в этом: «Где оно»! Что может сравниться с поэтической прелестью и грустью этой записи? В том-то и дело, что никому, может быть, во всей всемирной литературе не дано было чувствовать с такой остротой всякую плоть мира прежде всего потому, что никому не дано было в такой мере и другое: такая острота чувства обреченности, тленности всей плоти мира, — острота, с которой он был рожден и прожил всю жизнь. Chair à canon, «мясо», обреченное в военное время пушкам, а во все времена и века — смерти!

Умирающему князю Андрею стало «уже близким, почти понятным и ощущаемым то грозное, вечное, неведомое, далекое, присутствие которого он не переставал ощущать в продолжение всей своей жизни». Всю свою жизнь ощущал и Толстой.

— Холодна ты, смерть, но я был твоим господином, — пел Хаджи-Мурат свою любимую песню. — Мое тело возьмет земля, мою душу примет небо.

Толстой «господином» смерти не был, весь свой век ужасался ей, не принимал ее: «Она придет, она — вот она, а ее не должно быть!» — и завистливый восторг испытывал перед звериностью Хаджи-Мурата, Ерошки. У них была райски сильна, бездумна, слепа, бессознательна «осуществленная в теле воля к жизни», —

* пушечное мясо (*франц.*).

почти как у того боровшегося за свою жизнь на пашне татарника, которому он уподобил Хаджи-Мурата. Скотскую человеческую плоть, рая уже лишенную, это «мясо», уготованное грязной смерти, он всегда ненавидел. Другое дело — плоть звериная, «оленья», «сильное женское тело». Но и от того «оленьего», что было в нем самом, содрогался он, оленем, Хаджи-Муратом, Ерошкой все же не рожденный, отмеченный еще в утробе матери страшным знаком — всю жизнь ощущать это «грозное, вечное, неведомое», — содрогался с молодости, и чем дальше, тем все чаще и больше, чтобы в последние свои годы уже чуть не непрестанно молить бога: «Отец, избавь меня от этой жизни! Отец, покори, изгони, уничтожь мою поганую плоть! Помоги, отец!» — то есть: дай мне до конца победить смерть, властную над плотью, до конца изжить свою материальность — до конца «освободиться», слиться с тобой! Паки и паки искушает меня «дьявол» (Мара, Смерть) прелестью плотского мира и все новых и новых зачатий и рождений в нем, — помоги, отец, в борьбе с ним!

Когда-то он настойчиво приставал к профессору Усову:

— Я вот все хотел спросить вас, Сергей Алексеевич, правда ли, что если укусит бешеная собака, то человек наверное умрет через шесть недель? Мне ужасно нравится мысль, что умрет. Укусит собака, и знаешь, что через шесть недель непременно умрешь, и руби всем правду в глаза, делай, что хочешь...

Да, приставал он к Усову недаром, «рубить» он любил: все в мире видел с той ясностью, зоркостью, с которой видела все вокруг себя и в самой себе Анна на пороге смерти, прозревшая от ее близости, разбуженная ею от сна жизни, и, как Анна, был беспощаден в минуты, подобные тем, которые Анна переживала по пути на станцию и на станции:

«Опять я понимаю все», — сказала себе Анна, как только коляска тронулась... «Да, о чем последнем я так хорошо думала», — старалась вспомнить она. «Да, про то, что говорит Яшвин: борьба за существование и ненависть — одно, что связывает людей. Нет, вы напрасно едете, — мысленно обратилась она к компании в коляске четверней, которая, очевидно, ехала веселиться за город, — и собака, которую вы везете с собой, не поможет вам. От себя не уйдете». Кинув взгляд на ту сторону, куда оборачивался Петр, она увидала полумертво пьяного фабричного с качающейся головой, которого вез куда-то городовой... «Мы с графом Вронским также

не нашли этого удовольствия, хотя и много ожидали от него». И Анна обратила теперь в первый раз тот яркий свет, при котором она видела все, на свои отношения с ним...

На станции, «сидя на звездообразном диване в ожидании поезда, она с отвращением глядела на входивших и выходивших... Раздался звонок, прошли какие-то молодые мужчины, уродливые, и наглые, и торопливые, и вместе с тем внимательные к тому впечатлению, которое они производили; прошел и Петр через залу в своей ливрее и штиблетах с тупым, животным лицом, чтобы проводить ее до вагона. Шумные мужчины затихли, когда она проходила мимо них по платформе, и один что-то шепнул о ней другому, разумеется, что-нибудь гадкое. Она поднялась на высокую ступеньку и села одна в купе на пружинный, испачканный, когда-то белый диван... Петр с дурацкой улыбкой приподнял у окна в знак прощания свою шляпу с галуном, наглый кондуктор захлопнул дверь и щеколду. Дама, уродливая, с турнюром (Анна мысленно раздела эту женщину и ужаснулась на ее безобразие), и девочки, ненатурально смеясь, пробежали внизу... Испачканный, уродливый мужик в фуражке, из-под которой торчали спутанные волосы, прошел мимо окна, нагибаясь к колесам вагона... Кондуктор отворял дверь, впуская мужа с женой... Чета села с противоположной стороны, внимательно, но скрыто оглядывая ее платье. И муж и жена казались отвратительны Анне... Анна ясно видела, как они надоели друг другу и как ненавидят друг друга. И нельзя было не ненавидеть таких жалких уродов...

«Да, на чем я остановилась? На том, что я не могу придумать положения, в котором жизнь не была бы мучением, что все мы созданы затем, чтобы мучиться, и что мы все знаем это, и все придумываем средства, как бы обмануть себя. А когда видишь правду, что же делать? Надо избавиться. Отчего же не потушить свечу, когда смотреть больше не на что, когда гадко смотреть на все это? Зачем они кричат, эти молодые люди в том вагоне? зачем они говорят? зачем они смеются? Все неправда, все ложь, все обман, все зло!» — Когда поезд подошел к станции, Анна вышла в толпе других пассажиров, как от прокаженных, сторонясь от них...

Потом «свеча, при которой она читала исполненную тревог, обманов, горя и зла книгу, вспыхнула более ярким, чем когда-нибудь, светом, осветила ей все то, что прежде было во мраке, затрещала, стала меркнуть и навсегда потухла».

XIII

Софья Андреевна утверждала:

— Левочку никто не знает, знаю только я — он больной и ненормальный человек.

Он умер на восемьдесят третьем году жизни. Значит, должен быть причислен к высшему в смысле телесной «крепости» сорту людей («лет наших всего до семидесяти лет, а при большей крепости до восьмидесяти», по слову Библии). Кроме того, смерть его была случайностью: не проживи он жизнь в таком страшном и телесном и духовном напряжении, в такой «ненормальной» восприимчивости, в таком непрестанном труде и не уйди из дому, он прожил бы, вероятно, лет сто. А сто лет есть знак уже редкой породы людей. И вот о нем утвердилось мнение как о человеке могучего здоровья. Но справедливо говорил он про себя: «Я всегда был слабого здоровья, только крепкого сложенья». С ранней молодости он был подвержен многим болезням, еще юношей писал: «Здоровье мое нехорошо, расположение духа самое черное, чрезвычайно слаб и при малейшей усталости чувствую лихорадочные припадки»; впоследствии у него бывали глубокие обмороки и притом с такими судорогами, что еще неизвестно, не прав ли один московский профессор, говоря о какой-то форме эпилепсии, будто бы таившейся в нем. Главней же всего то, что у него были зачатки туберкулеза (дающего, как известно, тем, кто им поражен, даже и духовный склад совсем особый).

Родные его тоже не отличались «нормальностью».

Мать его умерла тридцати девяти лет, отец сорока двух. Об отце известно только то, что и он был очень «чувствителен», что у него был тик (подергивание головы). Что до матери, то все знают, по «Войне и миру», экзальтированность княжны Марьи (иначе говоря, Марии Николаевны Волконской), ее религиозность, страсть к общению со всякими «божьими людьми», странниками и странницами, юродивыми и блаженными. Его родная тетка (по отцу) была религиозна особенно. «Любимым ее занятием были чтения житий святых, беседы с странниками, юродивыми, монахами, монашенками, из которых некоторые всегда жили в нашем доме, а некоторые посещали тетушку... Она не только соблюдала посты, много молилась, общалась с людьми святой жизни, но сама жила истинно христианской жизнью, стараясь избегать не только всякой роскоши и услуги, но стараясь, сколько возможно, служить другим. Денег

у нее никогда не было, потому что она раздавала просящим все, что у нее было. В пище, в одежде, она была так проста и нетребовательна, как только можно себе представить. Как мне ни неприятно это сказать, я с детства помню кислый запах тетушки, вероятно, происходивший от ее неряшества. И это была та грациозная, с прекрасными голубыми глазами, поэтическая Aline, любившая читать и списывать французские стихи, игравшая на арфе и всегда имевшая большой успех на самых больших балах!» Умерла она в монастыре, в Оптиной Пустыни. Там же кончила жизнь и родная его сестра, Марья Николаевна. А его братья Дмитрий и Николай умерли еще молодыми от туберкулеза. Дмитрий был болен и душевно: бешеная раздражительность сочеталась у него с крайней добротой, крайнее самолюбие, огромная гордость с болезненным смирением, самоуничижением, аскетические наклонности с порывами чувственности, пьянства, разгула. Цитирую (с пропусками) «Первые воспоминания»:

«Митенька был годом старше меня. Большие черные, строгие глаза... В детстве был очень капризен... сердился и плакал за то, что няня не смотрит на него; потом злился и кричал, что няня смотрит на него... маменька очень мучилась с ним... В Казани я, подражавший всегда брату Сереже, начал развращаться... старался быть светским, comme il faut. Ничего этого не было и следа в Митеньке... Он всегда был серьезен, вдумчив, чист, решителен, вспыльчив и то, что делал, доводил до пределов своих сил... Митеньке дан был (в казачки) Ванюша. Митенька часто дурно обращался с ним, кажется, даже бил его... помню его покаяния за что-то перед Ванюшей и униженные просьбы о прощении... Рос он, мало общаясь с людьми, всегда, кроме как в минуты гнева, тихий, серьезный, с задумчивыми, строгими большими карими глазами. Он был велик ростом, худ довольно, с длинными и большими руками и с сутуловатой спиной... С первого же года университетской жизни он предался религиозности, как он все делал, до конца. Он стал есть постное, ходить на все церковные службы... Он не танцевал, не ездил в свет, носил один студенческий сюртук с узким галстуком, и смолоду уже у него появился тик: он подергивал головой, как бы освобождаясь от узости галстука... Из всех товарищей он выбрал жалкого, оборванного студента, дружил только с ним... К нашему семейству была както пристроена, взята из жалости самое странное и жалкое существо, некто Любовь Сергеевна, девушка... Она была не только жалка, но и отвратительна... Лицо ее было все распухшее... Глаза

виднелись в узеньких щелках между двумя запухшими, глянцевитыми, без бровей подушками. Также распухшие, глянцевитые, желтые были щеки, нос, губы, рот. И говорила она с трудом, так как и во рту была опухоль. Летом на ее лицо садились мухи, и она не чувствовала их... Волосы у нее были еще черные, ко редкие, не скрывавшие голый череп... От нее всегда дурно пахло... Вот эта-то Любовь Сергеевна сделалась другом Митеньки... После выхода из университета он жил той же строгою, воздержанной жизнью, не зная ни вина, ни табаку, ни женщин до 26 лет... Он сходился с монахами и странниками... Потом с Митенькой случился необыкновенный переворот. Он вдруг стал пить, курить, мотать деньги и ездить к женщинам... Ту женщину, проститутку Машу, которую он первую узнал, он выкупил и взял к себе... Думаю, что не столько дурная, нездоровая жизнь, сколько внутренняя борьба укоров совести сгубили сразу его могучий организм. Он заболел чахоткой... Он был ужасен: огромная кисть его руки была прикреплена к двум костям локтевой части, лицо было — одни глаза, те же прекрасные, серьезные, теперь выпытывающие... Он не хотел умирать, не хотел верить, что он умирал. Рябая, выкупленная им Маша, повязанная платочком, была при нем... По его желанию принесли чудотворную икону. Помню выражение его лица, когда он молился на нее...»

Род Толстых существует в России лет шестьсот. Род этот происходит от какого-то «мужа честна Индриса», выехавшего в Россию «из Цесарские земли, из немец» (каковым словом русские в старину называли всех иностранцев), и лет через триста после того становится известен в русской истории, занимает уже высокое служилое положение при русских царях, получает графское достоинство и все более вступает в родственные связи с знатными фамилиями: прадед Толстого женится на княжне Щетининой, дед (Илья Андреевич) на княжне Горчаковой, отец (Николай Ильич) на княжне Волконской, происходящей от самих Рюриковичей, потомков первой царской династии России: Трубецкая по матери, она происходила по отцу от тех Волконских, родоначальником которых был прямой Рюрикович, святой Михаил, владетельный князь Черниговский. Известно, как сильны бывают представители таких старых родов, духовной и телесной аристократии. Эта аристократия, этот отборный, крупный (и не только телесно) сорт людей есть и в народе, в простом народе любой национальности. Среди русских мужиков было и есть немало таких «породистых», резко выделяющихся из толпы и наружно и внутренне, и немало есть среди таких

мужиков как раз очень долголетних, по большей части типа атавистического, пещерного, гориллоподобного, страстного, животолюбивого и отличающегося богатой и сильной образной речью. Того же типа и большинство наиболее знатных русских господ: крупные, простонародные черты лица, крупные руки и ноги, зачастую сильно развитые бровные дуги, высокий рост, широкая кость — и эта богатая речь, образная, чувственно-изобразительная. Тип этот, — к которому как раз и принадлежал Толстой, — очень «крепок» в своей телесной основе. Но всегда ли он «нормален»?

Лейбниц называл «вечную часть нашей нравственной природы» монадой, Гете — энтелехией и говорил, что гении переживают две молодости, меж тем как прочие бывают только раз молоды. «Если энтелехия принадлежит к низшему разбору, то она во время своего телесного затмения (в земной жизни) подчиняется господству тела и, когда тело начинает стареть, не в силах препятствовать его старости. Если же энтелехия могущественна, то она, в то время, когда проникает тело, не только укрепляет и облагораживает его, но и придает ему ту вечную юность, которой обладает сама. Вот почему у людей особенно одаренных мы наблюдаем эпохи особой продуктивности: у них вновь наступает пора молодения, вторая молодость...» Как могущественна была энтелехия Толстого!

Летом 1901 года отец опасно заболел, говорит Александра Львовна в своих воспоминаниях, у него начинались лихорадка и грудная жаба. Его увезли в Крым. Но там он опять заболел и очень тяжко, сперва плевритом и ползучим воспалением легких, потом брюшным тифом, провел в постели четыре месяца. И «то, что старик на восьмом десятке лет, с ослабленным грудной жабой и лихорадкой сердцем, мог выдержать это воспаление и сейчас же, почти без перерыва, брюшной тиф, было величайшим чудом». Таким же чудом было и дальнейшее: после этих болезней он прожил еще девять лет, я не как-нибудь, а в непрерывной работе и временами в такой большой телесной силе, что никто из молодых не мог с ним сравняться в неутомимости и живости (и в той радости душевной, что все больше и больше просветляла его). Так временами жил он даже в самый год своей смерти. Не раз в этот год записывали его близкие: «Папаша очень занят, здоров и бодр... Лев Николаевич очень бодр, молод и поразительно деятелен, мы все едва поспеваем за ним...» Эти две записи относятся к началу весны 1910 года — и не случайна была эта его предвесенняя «молодость»: он всегда жил с необыкновенно верным чувством прибывающих или убывающих

сил природы, сам говорил: «Конец зимы и начало весны всегда самое мое рабочее время».

— И возвратится персть в землю, яко же бе, и дух возвратится к богу, иже даде его...

Кто чувствовал и любил эту землю, как он? Вот он говорит о Гомере, которого он, выучив — в два месяца! — греческий язык, стал читать в подлиннике: какой земной восторг, какая земная мощь!

— Это вода из ключа, ломящая зубы, с блеском и солнцем и даже с соринками, от которых она кажется еще чище и слаже.

Вот он записывает почти в ту же пору (в июне 1878 года):

— Жаркий полдень, тихо, запах сладкий и душистый — зверобой, кашка — стоит и дурманит. К лесу в лощине еще выше трава и тот же дурман; на лесных дорожках запах теплицы... Пчела на срубленном лесе обирает по очереди с куртины желтых цветов... Жар на дороге, пыль горячая и деготь...

Запись совершенно необыкновенная по всяческой крепости, по упоению прелестью сил земных — и тем более необыкновенная, что эти годы были для него самым роковым временем всей его жизни: еще тем неизжитым до конца ужасом перед «перстью», обреченной возвратиться в землю, который он вскоре после того высказал в «Исповеди». Всего же необыкновеннее то, что за несколько лет перед этим уже с полной очевидностью обнаружилось, что он «сумасшедший».

XIV

Аксаков говорил о Гоголе:

— Нервы его, может быть, во сто раз тоньше наших: слышат то, чего мы не слышим, содрогаются от причин, нам неизвестных... Вероятно, весь организм его устроен как-нибудь иначе, чем у нас...

Организм Толстого был устроен тоже «иначе».

— Толстой! — насмешливо сказал когда-то один известный русский писатель. — Как это у Жюля Верна? «Восемьдесят тысяч километров под водой»? Так вот про Толстого можно сказать нечто подобное: восемьдесят тысяч верст вокруг самого себя.

Эту фразу повторяли потом без конца. И ни сам писатель, ни повторявшие ее даже и не подозревали, над какой глубочайшей особенностью Толстого насмехаются они. «Кто ты — что ты?» Недаром так восхищался он этим, — тем, что именно этот вопрос,

а не что-либо другое слышала его старая нянька в мерном стуке часов, отмеривавших утекающее время ее бедной земной жизни. Ведь можно было слышать обычное: «Тик-так, тик-так...» Но вот она слышала свое, другое: «Кто ты — что ты?» Сам он слышал в себе этот вопрос всю жизнь — с детства и до самой последней минуты своей.

— Склонности к умствованию, писал он еще в «Отрочестве», суждено наделать мне много вреда в жизни... Я любил эту минуту, когда, возносясь все выше и выше в область мысли, вдруг постигаешь всю необъятность ее...

В этом «умствовании» была еще одна замечательная черта: все стараться взглянуть на себя со стороны.

— В продолжении года, во время которого я вел уединенную, сосредоточенную в самом себе, моральную жизнь, все отвлеченные вопросы о назначении человека, о будущей жизни, о бессмертии души уже представлялись мне...

— Почему симметрия приятна для глаз? Это врожденное чувство, отвечал я сам себе. На чем же оно основано? Разве во всем в жизни симметрия? Напротив, вот жизнь — и я нарисовал на доске овальную фигуру. После жизни душа переходит в вечность; вот вечность — и я провел с одной стороны овальной фигуры черту до самого края доски. Отчего же с другой стороны нет такой же черты? Да и в самом деле, какая же может быть вечность с одной стороны! *Мы, верно, существовали прежде этой жизни, хотя и потеряли о том воспоминание...* Ни в одном из всех философских направлений я не увлекался так, как скептицизмом, который одно время довел меня до состояния, близкого к сумасшествию. Я воображал, что, кроме меня, никого и ничего не существует во всем мире, что предметы не предметы, а образы, являющиеся только тогда, когда я обращаю на них внимание, и что, как скоро я перестаю думать о них, образы эти тотчас же исчезают...

— Часто, начиная думать о самой простой вещи, я впадал в безвыходный круг анализа своих мыслей... Спрашивая себя: о чем я думаю? я отвечал: я думаю, о чем я думаю. А теперь я о чем думаю? Я думаю, что я думаю, о чем я думаю, и так далее. Ум за разум заходил...

— Ты не думай! — сказала я ему.

(Александра Львовна — ему, умирающему.)

— Ах, как не думать! Надо, надо думать! — отвечал он.

В нем *все* было «иначе» и все так удивительно, что, казалось бы, уже ничему нельзя больше удивляться. И вот все-таки удивляешься — опять, опять говоришь себе: в каком великом «делании» провел всю свою жизнь этот человек, проповедовавший «неделание», сколько «дал потомства господу», как неутомим был он (всякое «имение» впоследствии отвергнувший) в приобретении «имения»!.. А его неутолимая потребность «высказываться», исповедоваться? Целые томы дневников, исповедей! Вести дневники он начал еще юношей, продолжал чуть не каждый день почти всю жизнь и — что самое удивительное — не бросал не только до самого смертного одра, но даже и на нем, на этом смертном одре, пользуясь каждой минутой освобождения от бреда и даже в бреду.

«Надо, надо думать!» Нечто подобное не раз говорил он и раньше!

— Все хочется понять, чего нельзя понять, точно мне пятнадцать лет.

«Ненормально» было количество его ежедневных записей о своих мыслях, о чувствах и поступках, «ненормально» было и качество их (в смысле правдивости, откровенности). Мережковский справедливо сказал:

— В литературе всех народов и веков едва ли найдется другой писатель, который обнажил бы свою жизнь с такой откровенностью, как Толстой.

Так говорила и Софья Андреевна:

— Он в дневниках такие вещи о себе писал, что я не понимаю, как можно о себе так писать!

Самообнажение атавистическое? Самообнажение, самобичевание святых?

«Ненормально» было и это: всю жизнь, с детства до самого смертного одра «исправляться, совершенствоваться». Недаром мать Дмитрия Нехлюдова сказала Коленьке Иртеньеву:

— C'est vous qui êtes un petit monstre de perfection*.

Софья Андреевна и писала и говорила:

— Такие умственные силы пропадают в пиленье дров, в ставлении самоваров и в шитье сапог!

— Если счастливый человек вдруг увидит в жизни, как Левочка, только все ужасное, а на хорошее закрыл глаза, то это от нездоровья.

И прибавляла, обращаясь к нему самому:

— Тебе полечиться надо.

---

* Вы законченное маленькое животное (*франц.*).

Да, «это от нездоровья». Бог дал беспримерный талант, необыкновенные умственные силы, и человек сам это прекрасно знает. Казалось бы, что еще нужно? Главный труд всей жизни, главная ее цель — использовать на великую радость ближнего своего только это — талант и ум. Но вот этот человек тратит себя на самовары, на рубку дров, на кладку печей, на целые годы прерывает иногда свой художественный труд для педагогики... на пороге старости вдруг садится за изучение древнегреческого, потом древнееврейского языка, изучает и тот и другой с быстротой непостижимой, но и с таким напряжением всего себя, что обнаруживается полная необходимость ехать в Башкирию, пить кумыс — спасать себя от смертельного переутомления, от зловещих проявлений своей прирожденной чахотки, от чахоточного кашля и пота; потом составляет «Азбуку», учебник арифметики, книжки для школьного и внешкольного чтения; изучает драму, — Шекспира, Гете, Мольера, Софокла, Еврипида, — изучает астрономию; потом опять: «Я только и думаю, что о воспитании, обучении, я опять весь в педагогике, как четырнадцать лет назад». Софья Андреевна была вполне права, если судить все это с точки зрения простого житейского рассудка: «Эти азбуки, арифметики, грамматики — я их презираю. Его дело — писание романов». Но вот он всю жизнь учится — и учит: простая ли эта страсть? Не страсть ли (или долг) библейских пророков, Будды, браманов? «Высшая каста, каста браманов, учителей народа, требовала от человека равнодушия к земным благам и победы высшей природы над низшей. Предполагалось, что человек, воплотившийся в касте браманов, прошел уже через все низшие ступени и приобрел нравственную силу и мудрость, благодаря послушанию, совершенному исполнению своего долга и усилениям в борьбе за правое дело, — прошел все это в прежних воплощениях, и это давало ему право и обязывало учить. Идеалом же и целью браманов являлась мудрость, внутренняя свобода, всепрощение, любовь ко всему живому, чистота и единение с Первоисточником жизни».

«Мировая совесть», говорят про него. Совесть у него была тоже «ненормальная», гипертрофированная. Вот он видит в зимний морозный день нищую деревенскую бабу: боже, какой приступ сердечной боли, стыда, омерзения к себе! Баба холодная, голодная, «а я в теплом полушубке, я сейчас приду домой и буду жрать яйца!» Ночью, на московской улице, городовые ведут пятнадцатилетнюю проститутку в участок — опять ужас, мука: «Ее увели в полицию, а я пошел в чистую покойную комнату спать и читать книжки и

заедать воду смоквой! Что же это такое?» Да, что же это такое? Но миллионы обыкновенных людей говорят «нормально»: «Все так, но можно ли все погосты оплакать! Это уже сумасшествие». И он сам подтверждает это: «Я-то знаю, что я сумасшедший»!

В голодное лето 1865 года он пишет с той силой, которая только ему одному была присуща: «У нас за столом редиска розовая, желтое масло, подрумяненный мягкий хлеб на чистой скатерти, в саду зелень, наши молодые дамы в кисейных платьях, рады, что жарко и тень, а там голод покрывает поля лебедой, разводит трещины по высохшей земле и обдирает мозольные пятки у мужиков и баб и трескает копыты у скотины...» Да, это ужас. Но ведь живут же люди среди ужасов. Почему же не может он? Почему все погосты оплакивает? «Восемьдесят тысяч верст вокруг самого себя». Нет, и вокруг всего на свете. Можно ли иметь такую совесть, такое «чувствительное сердце», которое он имел и в ранней молодости, и в годы мужества, высшей телесной и душевной крепости и уже огромного жизненного опыта. Совершенно «ненормальные» противоречия! И в молодости, и в зрелости, и в старости сколько, повторяю, было в нем всяких земных и даже звериных сил и какая тяга к ним, какое чувствование и восхищение ими! Ведь это он написал в молодости, как собственную душу и кровь, Ерошку, Лукашку, людей достаточно «несовестливых», он видел тысячи страданий и смертей и на Кавказе и в Севастополе, а в зрелости прошел не только в действительности, но и за письменным столом, за многолетним трудом над «Войной и миром», такое познание человеческой жизни и всех жестоких непреложных законов ее, что уж, кажется, мог бы не плакать над нищей бабой и не проклинать себя за съеденное яйцо. Но вот — плачет.

«Он был весь воплощенное угрызение социальной совести», — говорил Мережковский в столетнюю годовщину его рождения. «Социальной»! Гораздо правильнее говорил Алданов: «Он всю жизнь уклонялся от общественной повинности (хотя и не мог иногда уклоняться)... Про него можно скорее сказать, что он был *противообщественный* деятель...» В старости он уже всеми силами души отрекался от всякой деятельности, от всякого «делания». Иначе и быть не могло: ведь, как сказал Плотин, «деятель всегда ограничен, сущность деятельности — самоограничение: кому не под силу думать, тот действует». Ну, а кому под силу, тот «рвется из бытия к небытию», начинает спрашивать: «А может быть, жизнь есть смерть, а смерть есть жизнь?» — относительно чего философ Шестов

замечает: «Смешивать жизнь со смертью и смерть с жизнью может, с обычной точки зрения, лишь безумие», иначе говоря, ненормальность. Страдания толстовской совести были так велики по многим причинам, — и потому, что, как он сам говорил, было у него воображения «несколько больше, чем у других», и потому, что был он родовит: это вообще надо помнить, говоря о его жизни; роды, наиболее близкие ему, были по своему характеру, как физическому, так и духовному, выражены резко; были они, кроме того, очень отличны друг от друга, противоположны друг другу; графы Толстые, князья Горчаковы, князья Трубецкие, князья Волконские — тут, как во всех старинных родах, да еще принимавших немалое участие в исторической жизни своей страны, все имеет черты крупные, четкие, своеобразные; отсюда все противоположности, все силы и все особенности и в его собственном характере; но, главное, отсюда один из тех бесчисленных грехов, которые он почти весь свой век чувствовал на себе и в огромном наличии которых он уверил весь мир: грех его принадлежности к «князьям мира сего»; в этом грехе он был неповинен, но все равно: «Отцы наши ели виноград, а у нас оскомина». И все же чрезмерность страданий его совести зависела больше всего от его одержимости чувством «Единства Жизни», говоря опять-таки словами индийской мудрости. Будда не мог не знать, что существуют в мире болезни, страдания, старость и смерть. Почему же так потрясен он был видом их во время своих знаменитых выездов в город? Потому, что увидал их глазами человека как бы первозданного и вместе с тем уже такого, бесчисленные прежние существования которого вдруг сомкнулись в круг, соединились своим последним звеном с первым. Отсюда и было у него сугубое чувство «Единства Жизни», а значит, и сугубая совесть, которая всегда считалась в индийской мудрости выражением высшего развития человеческого сознания. Однажды, когда Толстой сидел и читал, костяной разрезной нож скользнул с его колен «совсем как что-то живое», и он «весь вздрогнул от ощущения настоящей жизни этого ножа». Что ж дивиться после этого его слезам, его стыду, его ужасу перед нищей бабой!

XV

Как философ, как моралист, как вероучитель, он для большинства все еще остается прежде всего бунтарем, анархистом, невером. Для этого большинства философия его туманна и невразумительна,

моральная проповедь или возбуждает улыбку («прекрасные, но нежизненные бредни»), или возмущение («бунтарь, для которого нет ничего святого»), а вероучение, столь же невразумительное, как и философия, есть смесь кощунства и атеизма. Так все еще продолжается, хотя и в несколько иной форме, то отношение к нему, которое было когда-то в России. Только одна «левая» часть этого большинства прославляет его — как защитника народа и обличителя богатых и властвующих, как просвещенного гуманиста, революционера: отсюда и утверждается за ним титул «мировой совести», «апостола правды и любви».<...>

«Политика, говорил Гете, никогда не может быть делом поэзии».

Мог ли быть политиком великий поэт Толстой, душа, с детства жившая стремлениями к «важнейшему» («ничего нет в жизни верного, кроме ничтожества всего понятного мне и величия чего-то непонятного и важнейшего»), чувством тщеты и бренности всех земных дел и величий? — «Он обличал все и вся». Но и Христос обличал. Только он же и говорил: «Царство мое не от мира сего». И Будда обличал: «Горе вам, князья властвующие, богатые, пресыщенные!»

— Такие умственные силы пропадают в колонье дров, в ставлении самоваров и шитье сапог!

— Если счастливый человек вдруг увидит в жизни, как Левочка, только все ужасное, а на хорошее закрыл глаза, то это от нездоровья.

— Тебе полечиться надо.

Не пропадать этим умственным силам в шитье сапог никак нельзя было. Но разве в силу того, что нужны «общественные» улучшения жизни, устранения «классовых неравенств»?

Он, «счастливый», увидел в жизни только одно ужасное. В какой жизни? В русской, в общеевропейской, в своей собственной домашней? Но все эти жизни только капли в море. И эти жизни ужасны, и в них невыносимо существовать, но ужаснее всего главное: невыносима всякая человеческая жизнь — «пока не найден смысл ее, спасение от смерти». И даже больше: никуда не уйдешь от ее тяжести, покуда не уйдешь не из Ясной Поляны только, не из России, не из Европы, а вообще из жизни земной, человеческой.

«Это от нездоровья, тебе полечиться надо». Но что же говорить о «здоровье» и о лечении Будды, Толстого!

«Мировая совесть, совесть цивилизованного мира». Но были только совпадения в том, что говорил мир и что он.

Он говорил:

— Мы (христиане) часто обманываемся тем, что, встречаясь с революционерами, думаем, что мы стоим близко рядом. Кажется, все одно и то же. Но не только есть большая разница, но нет более далеких от нас людей, чем революционеры.

Он спрашивал:

— Машины, чтобы делать что? Телеграфы, чтобы передавать что? Школы, университеты, академии, чтобы обучать чему? Собрания, чтобы обсуждать что? Книги, газеты, чтобы распространять сведения о чем? Железные дороги, чтобы ездить кому и куда? Собранные вместе и подчиненные одной власти миллионы людей — чтобы делать что?

В биографии Полнера эта знаменитая цитата сопровождается наивным разъяснением: «В условиях социального неравенства Толстой не мог найти удовлетворительных ответов на эти вопросы». Ну, а если бы не социальное неравенство? Полнер не обращает никакого внимания на последний из толстовских вопросов:

— Больницы, врачи, аптеки для того, чтобы продолжать жизнь, *а продолжать жизнь зачем?*

Странно разъяснять все это. Но разъяснять еще необходимо. Вспоминаю речь одного из самых блестящих русских людей, знаменитого адвоката и политического деятеля Маклакова, много лет бывшего в доме Толстых одним из самых близких им людей, — речь, произнесенную в Праге. Маклаков тоже разъяснял, он говорил:

— Очень достойно внимания то, что вот в эти юбилейные дни мир поминает Толстого только как художника и как политика, — что религиозная и философская мысль хранят о нем молчание. Как художник Толстой, конечно, вне сомнений. А что еще вне сомнений? Его политическая деятельность. И вот политики, одни с огорчением, другие с похвалой, отмечают борьбу Толстого с правительством, с насилиями всякого рода, с привилегиями, с богатыми, сильными. Для одних это ужасно: он был идейный виновник русской революции; для других же это большая заслуга его; для них у Толстого нелепо одно — его проповедь о непротивлении злу, его «недомыслие», происходившее, по их мнению, от незнакомства с учением Маркса, от незнания даже начальных учебников государственного права. Правда ли, однако, что Толстой был политик, хотя и писал, например, «Стыдно», «Не могу молчать», затрогивал политические темы даже в «Воскресении», хлопотал перед властями и Государственной думой о проведении в жизнь законодательным

порядком идей Генри Джоржа? Нет, все-таки не был, политическую деятельность все-таки считал злом; в своей книге «Христианское учение», задавая себе вопрос, почему мир не пошел за Христом, он находит ответ на него в том, что в мире существуют «соблазны», те гибельные подобия добра, в которые, как в ловушку, заманиваются люди, например, политическими статутами, — это даже самый опасный соблазн, говорит он, когда государство оправдывает совершаемые им грехи тем, что оно будто бы несет благо большинству людей, народу, человечеству. Да, Толстой немало говорил о недостатках человеческого общежития так же, как говорим и мы, люди мира, политики; но мы имеем только внешнее право зачислять его в свои ряды, для него эти недостатки не стояли на первом плане, он думал о том, о чем мы, люди бессознательного жизненного инстинкта, слишком мало думаем в нашей жизненной суете, — о смысле жизни, кончающейся смертью. Он сам рассказал в своей «Исповеди», что привело его к «перелому»: мысль о смерти; ему стало казаться, что если все то, ради чего мы живем, — все мирские блага, все наслаждения жизнью, богатством, славой, почестями, властью, — если все это будет у нас отнято смертью, то в этих благах нет ни малейшего смысла. Если жизнь не бесконечна, то она просто бессмысленна; а если она бессмысленна, то жить вовсе не стоит, следует как можно скорее избавиться от нее самоубийством. Вот то неожиданное и безотрадное заключение, к которому привела его мысль о смерти...

Почему Маклаков употребил слово «неожиданное», непонятно. Но дальше он говорит опять правильно: «Эта проблема о смысле жизни не связана ни с определенной эпохой, ни с народностью, ни с формами государственности... Толстого нужно сравнивать не с нами, не с политиками, не с теми, кто хлопочет об увеличении благ и о справедливом распределении их в обществе, а с учителями религий... Толстой — *сын позитивного века и сам позитивист*; но по запросам своего духа он был религиозная натура по преимуществу...» Это все правильно (за исключением, конечно, наименования Толстого позитивистом), и правильности своих разъяснений Маклаков мог бы привести множество и других доказательств. Толстой и сам говорил в этом роде:

— Люди, ненавидящие существующий строй и правительство, представляют себе какой-то другой порядок вещей и даже никакого себе не представляют и всеми безбожными, бесчеловечными средствами — пожарами, грабежами, убийствами — разрушают этот

строй... Но дело не в перемене правительств. Разве жизнь станет лучше, если вместо Николая II будет царствовать Петрункевич?

Он ждал, говорит Александра Львовна, что после японской войны в России будет революция: настроение рабочих, солдат, крестьян он чувствовал не только из разговоров с ними, но и по бесконечным письмам, стекавшимся к нему со всех концов России. Но для него было совершенно ясно, что революция не улучшит положения народа; каждая власть основана на насилии, и каждая власть поэтому дурна, говорил он: «Новое правительство будет также основано на насилии, как и старое. Как Кромвель, как Марат давили своих противников, так и у нас новое правительство давило бы консерваторов...»

Он писал «Правительству, революционерам и народу»:

— Для того, чтобы положение людей стало лучше, надо, чтобы сами люди стали лучше. Это такой же труизм, как то, что для того, чтобы нагрелся сосуд воды, надо, чтобы все капли ее нагрелись. Для того же, чтобы люди становились лучше, надо, чтобы они все больше и больше обращали внимание на себя, на свою внутреннюю жизнь. Внешняя же, общественная деятельность, в особенности общественная борьба, всегда отвлекает внимание людей от внутренней жизни и потому всегда, неизбежно развращая людей, понижает уровень общественной нравственности. Понижение же уровня общественной нравственности делает то, что самые безнравственные части общества все больше и больше выступают наверх и устанавливается безнравственное общественное мнение, разрешающее и даже одобряющее преступления. И устанавливается порочный круг: вызванные общественной борьбой худшие части общества с жаром отдаются соответствующей их низкому нравственному уровню общественной деятельности, деятельность же эта привлекает к себе еще худшие элементы общества...

Маклаков разъяснял в своей речи и другое — «самое важное в миросозерцании Толстого, именно его религиозные воззрения». Я не случайно остановился на этой речи: суждения таких людей, как Маклаков, не могут не обращать на себя особенного внимания уже хотя бы по тому редкому во всех отношениях знанию Толстого, которым обладает Маклаков. Что же говорил он о Толстом как о вероучителе?

Толстой, говорил он, утверждал не только печатно, но и во многих беседах со мной, что он своего собственного христианского учения не создавал, что он только восстановил подлинного Христа,

затемненного учением мира и церкви. Преклоняясь перед Христом, Толстой в нем бога не видел: я не раз от него самого слышал, что, если бы он считал Христа богом, Христос потерял бы для него все свое обаяние. *Обычное воззрение неверующих*. Толстой был человеком современным, позитивистом. Он был слишком умен, чтобы не понимать, что разум наш ограничен; но, признавая ограниченность разума, он не допускал и того, чтобы разум мог узнать абсолютную истину в порядке веры и откровения. Он любил употреблять слова — религия, бог, бессмертие... Но бог был для него — непонятная, начальная сила; бессмертие духа — простое признание факта, что наша духовная жизнь откуда-то появилась и, следовательно, куда-то уйдет; а вера, по словам Ивана Киреевского, которые он любил повторять, есть не столько знание истины, сколько преданность ей. Все это очень далеко от учения церкви, и потому Толстой по своему мировоззрению истинный позитивист, сын нашего века. Однако вот что замечательно: он не говорил, подобно позитивистам, что проповедь Христа противоречит природе людей, что в его учении надо видеть только идеал, недостижимый на земле, — он думал, что это учение и должно и можно исполнять: при мирском мировоззрении он учил жить по-божьи.

— Зачем жить по-божьи? Затем, что иначе жизнь, кончающаяся смертью, есть бессмыслица.

Христос сказал в притче о богаче: он собрал богатства в житницы свои и хотел ими наслаждаться с друзьями своими; безумец, разве он стал бы это делать, если бы знал, что господь призовет его к себе в эту ночь? Люди, не думающие о смерти, ведут себя как этот безумец, говорил Толстой; при наличии смерти, нужно либо добровольно покинуть жизнь, либо переменить ее, найти в ней тот смысл, который не уничтожался бы смертью. Нелепость его проповеди о непротивлении злу доказывали еще и тем, что при этом непротивлении и наша жизнь, и культура, и государство погибнут, станут жертвою насильников; а для него нелепо было это доказательство: к чему же наша жизнь и все блага ее, если и то и другое поглотит смерть? Страх смерти тем резче, чем больше благ теряешь, умирая. Что же нужно? Нужна такая жизнь, которой смерть не страшна. Какая же это жизнь? На это отвечает только религия, религия христианская, религия «бедных, смиренных, немудрствующих». И это привело его к борьбе с церковью. Уже одному позитивизму его противоречила церковно-религиозная мистика; и все-таки не это оттолкнуло его от церкви: оттолкнуло ее отношение к

земной жизни, то, что она не отвергла, как отвергал Христос, мирскую жажду земных благ, не сказала, как он: раздай имущество, не противься злу насилием, подставь левую щеку ударившему тебя в правую, не суди, не казни... Церковь приняла, подтвердила и даже освятила все мирские понятия и учреждения со всеми их грехами и преступлениями, стала учить повиноваться этим учреждениям; мало того — показала в лице своих представителей, что и сама ценит все мирские блага. Зачем жить, если мы смертны? Мистика церкви отвечает: нет, мы бессмертны, за гробом мы обретем небесную, вечную жизнь и возмездие или награду за земную, временную. И эта мистика помирила человека с бессмысленностью и безумием его мирской жизни. Да, будут за грехи возмездия, говорит церковь; но все-таки она допустила привычную дурную жизнь человека на земле, учением о загробной жизни утвердила в людях вкус к земным благам, радостям, грехам, соблазнам и признала право человека ссылаться на свои человеческие слабости. Церковь Божия забыла Христа, сказал Толстой — и стал проповедовать христианство без бога. Еще в молодости говорил он: человек должен сознавать в себе свою личность не как нечто противоположное миру, а как малую частицу мира, огромного и вечно живущего. Это-то и говорит Христос: «Люби ближнего, как самого себя». И счастье личности может быть лишь одно: жить для других. Жертвуя собой для других, человек становится сильнее смерти. И вот почему заповеди Христа открыли ему смысл земной жизни и уничтожили его прежний страх перед смертью. О, конечно, против такого учения многое может возразить и позитивизм и церковь. Позитивизм скажет: зачем нужен какой-то смысл жизни, когда есть инстинкт жизни и все ее радости? А церковь скажет так: объявить Христа человеком, отрицать его воскресение, не значит ли свести христианство к нежизненной, недоступной человеческим силам и неинтересной морали? Разве рассудочная теория об общей мировой жизни, которая будто бы уничтожает страх смерти, может заменить веру в любовь и милосердие Божие, в заботы промысла о человеке и в радость конечного соединения с богом за гробом? Но Толстой пошел против церкви и против мира — и восстановил против себя и церковь и мир...

Так разъяснял Толстого Маклаков. И так удивительно чередовались у него суждения правильные с суждениями, порой просто непонятными.

— Толстой — сын позитивного века и сам позитивист...

Но весьма странно называть «сыном позитивного века» того, кто то и дело говорил и писал: «Нет более распространенного суеверия, что человек с его телом есть нечто реальное... Вещество и пространство, время и движение отделяют меня и всякое живое существо от бога... Все меньше понимаю мир вещественных и, напротив, все больше и больше сознаю то, чего нельзя понимать, а можно только сознавать... Материя для меня самое непонятное... Что я такое? Разум ничего не говорит на эти вопросы сердца... С тех пор как существуют люди, они отвечают на это не словами, то есть орудием разума, а всей жизнью... Чтобы жизнь имела смысл, надо, чтобы цель ее выходила за пределы постижимого умом человеческим...» Церковь утверждает, что мы бессмертны? Но и Толстой непрестанно говорил о бессмертии: «Думал, как думаю беспрестанно, о смерти. И так мне ясно стало, что так же хорошо, хотя по-другому, будет на той стороне смерти... Мне ясно было, что там будет так же хорошо, — нет, лучше. Я постарался вызвать в себе сомнения в той жизни, как бывало прежде, и не мог, как прежде, но мог вызвать в себе уверенность...» «Все тверже и тверже знаю, что огонь, погаснувший здесь, появится в новом виде не здесь — он самый...» «Вчера очень интересный разговор с Коншиным, он просвещенный материалист. Его, разумеется, не убедил ни в существовании бога, ни в будущей жизни, но себя убедил еще больше...» Он не видел в Христе бога? Но есть ли это «обычное воззрение неверующих»? Есть ведь миллионы не-христиан, миллионы не признающих Христа богом и, однако, верующих.

XVI

Философ Шестов говорит, что в одной мудрой древней книге сказано: кто хочет знать, что было и что будет, что под землей и что над небом, тому бы лучше совсем на свет не родиться; и еще так сказано в этой книге: ангел смерти, слетающий к человеку, чтобы разлучить его душу с телом, весь покрыт глазами; и случается, что он слетает за душой человека слишком рано, когда еще не настал срок человеку покинуть землю, и тогда удаляется от человека, отметив его, однако, некоторым особым знаком: оставляет ему в придачу к его природным человеческим глазам еще два глаза, — из бесчисленных собственных глаз, — и становится тот человек непохожим на прочих: видит своими природными глазами все, что видят все прочие люди, но сверх того и нечто другое, недоступное

простым смертным, — видит глазами, оставленными ему ангелом, и притом так, как видят не люди, а «существа иных миров»: столь противоположно своему природному зрению, что *возникает великая борьба в человеке, борьба между его двумя зрениями*.

Все это Шестов говорит в своей статье о Достоевском, — приписывает две пары глаз автору «Записок из подполья». Но, читая ее, думаешь о Толстом: если уж кто наделен был двойным зрением и именно *от ангела смерти*, слетевшего еще к колыбели его, так это Толстой. В случае с ним ангел смерти ошибся сугубо насчет его действительного смертного срока, но глаза оставил ему такие, что все, что видел Толстой впоследствии, весь свой долгий век, переоценивалось им прежде всего под знаком смерти, величайшей переоценщице всех ценностей (то подобно Анне перед самоубийством, то подобно князю Андрею на Аустерлицком поле). Шестов напоминает в своей статье слова Платона: «*Все, которые отдавались философии, ничего иного не делали, как готовились к умиранию и смерти*». Напоминает и слова Эврипида, повторенные впоследствии столь многими: «*Кто знает — может быть, жизнь есть смерть, а смерть есть жизнь*». И опять думаешь тут о Толстом. Эврипид все-таки колеблется: «Кто знает... может быть...» *Толстой не раз и все тверже говорил прямо: «Жизнь есть смерть»*.

— Ужасное, чего я ужасался, постигло меня...

Это «ужасное» постигало его всю жизнь, и чем дальше, тем все чаще и сильнее, чтобы наконец ужаснуть в некий день уже «до сумасшествия». В некий день он понял с особенной несомненностью, что он «сумасшедший». Давно думал от времени до времени: нет, происходит что-то странное, — как-то не так, как все, я живу на свете, не так, как они, вижу, чувствую, думаю... Только внешне подобна моя жизнь их жизни... Что-нибудь одно: или они сумасшедшие, или я сумасшедший. И так как их миллионы, а я один, то очевидно, что сумасшедший — я. И вот наступает день, когда озаряет уже совсем ясная мысль: да, я сумасшедший!

В письме к Софье Андреевне об этом дне он сказал сдержанно: «*Со мной было что-то необыкновенное*». Известно, что именно произошло с ним в действительности: в августе 1869 года, когда ему шел всего сорок второй год, он, движимый этой «любовью к семье, к хозяйству», поехал в Пензенскую губернию с самой простой целью — посмотреть и, быть может, купить имение, которое, по слухам, продавалось там очень выгодно, и по дороге ночевал в г. Арзамасе; а там и произошло то, что он сообщил в письме к Софье Андреевне:

«Что с тобой и с детьми? Не случилось ли что? Я второй день мучаюсь беспокойством. Третьего дня в ночь я ночевал в Арзамасе, и со мной было что-то необыкновенное. Было два часа ночи, я устал страшно, хотелось спать, и ничего не болело. Но вдруг на меня напала тоска, страх, ужас, каких я никогда не испытывал. Подробности этого чувства я тебе расскажу впоследствии, но подобного мучительного чувства я никогда не испытывал, и никому не дай бог испытать. Я вскочил, велел закладывать. Пока закладывали, я заснул и проснулся здоровым. Вчера это чувство возвратилось во время езды, но я был приготовлен и не поддался ему, тем более, что оно и было слабее. Нынче чувствую себя здоровым и веселым, насколько могу быть без семьи... *Я могу оставаться один в постоянных занятиях, но как только без дела, я решительно чувствую, что не могу быть один...*»

Последняя фраза необыкновенно важна: один он может быть только в постоянных занятиях, в делах; без занятий, без дел, заглушающих то, что происходит в душе, в уме, — «тоска, страх, ужас такие, каких никому не дай бог испытывать!». Он не мог не замечать всего этого и прежде, — не оттого ли и одурманивал себя своей страстной деятельностью? В Арзамасе же понял это до ужаса ясно. И прошел ли этот ужас после Арзамаса, в новых занятиях, дома, в семье? То, что не прошел, доказывает рассказ «Записки сумасшедшего», написанный через целых пятнадцать лет после Арзамаса. Рассказ этот, по сути, есть точное воспроизведение того, что написано в письме к Софье Андреевне, есть только развитие этой сути и договоренность недоговоренного. Герой рассказа тоже едет осматривать намеченное к покупке имение, и тоже в Пензенскую губернию, и ночует тоже в Арзамасе. Едет со слугой Сергеем. В Арзамасе останавливается в номерах и ложится спать. Пробует заснуть — невозможно.

— Заснуть, я чувствовал, не было никакой возможности. Зачем я сюда заехал? Куда я везу себя? Отчего, куда я убегаю? Я убегаю от чего-то страшного, и не могу убежать. Я всегда с собою, и я-то и мучителен себе. Я — вот он, я весь тут. Ни пензенское и никакое именье ничего не прибавит и не убавит мне. *Я надоел себе, несносен, мучителен себе.* Я хочу заснуть, забыться, и не могу. Не могу уйти от себя.

— Я вышел в коридор. Сергей спал на узенькой скамье, скинув руку, но спал сладко, и сторож с пятном — спал. Я вышел в коридор, думая уйти от того, что мучило меня. Но *оно* вышло за мной и

омрачило все. Мне так же, еще больше страшно было. «Да что это за глупость, — сказал я себе, — чего я тоскую, чего боюсь?»

— *Меня, — неслышно отвечает голос смерти.* — Я тут. Мороз подрал мне по коже. Да, смерти. Она придет, она — вот она, *а ее не должно быть*. Если бы мне предстояла действительно смерть, я не мог испытывать того, что испытывал. Тогда бы я боялся. А теперь я не боялся, а видел, чувствовал, что смерть наступает, а *вместе с тем чувствовал, что ее не должно быть*. Все существо мое чувствовало потребность, право на жизнь и вместе с тем совершающуюся смерть. И это внутреннее раздирание было ужасное. Я попытался стряхнуть этот ужас. Я нашел подсвечник медный со свечой обгоревшей и зажег ее. Красный огонь свечи и размер ее, немного меньше подсвечника, — все говорило то же. *Ничего нет в жизни, есть только смерть, а ее не должно быть*. Я пробовал думать о том, что занимало меня: о покупке, о жене. Ничего не только веселого не было, но все это стало ничто. Все заслонял ужас за свою погибающую жизнь. Надо заснуть. Я лег было, но только улегся, вдруг вскочил от ужаса. И тоска, и тоска — такая же душевная тоска, какая бывает перед рвотой, только духовная. Жутко, страшно. Кажется, что смерти страшно, а вспомнишь, подумаешь о жизни, то *умирающей жизни страшно*. Как-то жизнь и смерть сливались в одно. Что-то раздирало мою душу на части и не могло разорвать. Еще раз прошел посмотреть на спящих, еще раз попытался заснуть; все тот же ужас, — красный, белый, квадратный. Рвется что-то и не разрывается. Мучительно, и мучительно сухо и злобно, ни капли доброты я в себе не чувствовал, а только ровную, спокойную *злобу на себя и на то, что меня сделало...*

В конце концов человек, увидевший это «красное, белое, квадратное», даже с каким-то ликованием утверждает свое «сумасшествие».

— Сегодня меня возили свидетельствоваться в губернское правление, и мнения разделились. Они спорили и решили, что я не сумасшедший... Они признали меня подверженным эффектам и еще что-то такое, но в здравом уме. Они признали, но я-то знаю, что я сумасшедший!

Так совершилось то, что и должно было совершиться, — то, что «на роду» было написано. Всеми силами стремился человек одолеть в себе того подлинного, главного, каким родился, — стремился прожить жизнь, «как все», «практически, положительно», семьянином, отцом, хозяином, заглушал «красное, белое, квадратное»

беспримерным количеством «занятий», окружал себя, чтобы не быть «одному», семьей, потомством, многолюдным домом... Но нет, не удалось. В юности долго и беспорядочно искал, как бы получше устроить себя в общем, обычном мире, — где не должно быть того «необыкновенного», что было в Арзамасе, — толком не зная, где именно: не то в Ясной Поляне, не то на гражданской службе, не то на военной... Писал брату в молодости:

— Сережа, я пишу тебе это письмо из Петербурга, где я и намерен остаться навеки... Я вполне убежден теперь, что умозрением и философией жить нельзя, а надо жить положительно, то есть быть практическим человеком...

В годы мужества он как будто успокоился, жил так «положительно», что однажды писал:

— Есть в Москве некто барон Шенинг, у которого есть удивительные японские свиньи. Я видел таких у Шатилова и чувствую, что для меня не может быть счастья в жизни до тех пор, пока не буду иметь таких же свиней...

Всем известно, однако, что писал он в то же самое время и нечто совсем другое:

— Без знания того, что я такое и зачем я здесь, нельзя жить. А знать я этого не могу, следовательно, нельзя жить...

— На днях прочел то, что еще никогда не читал, и продолжаю читать и ахать от радости: это Притчи Соломона, Екклезиаст и Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова.

Легко догадаться, над чем больше всего «ахал» он:

— Решился я в сердце своем исследовать и испытать разумом все, что делается под солнцем: это тяжелое занятие дал бог сынам человеческим, чтобы они мучили себя...

В этих словах Екклезиаста весь Толстой. «Это тяжелое занятие» было главным занятием всей его жизни. Все, все, «что делается под солнцем», исследовал и испытал он, продумал и прочувствовал с беспримерной недоверчивостью и требовательностью.

— Я развивал и умножал в себе знание больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом, и сердце мое постигло много мудрости и знания. Когда же я обратил сердце свое на то, чтобы познать мудрость и познать глупость и безумие, то узнал, что и это затеи праздные. Потому что при многой мудрости много раздражительности, и кто умножает познания, умножает скорбь.

— Сказал я в сердце своем: насладись добром; но и это суета.

Сколько лет «наслаждался» Толстой «добром», чтобы в конце концов («в третьем фазисе» своем) отречься и от него!

— Предпринял я великие дела; построил себе домы, насадил себе виноградники... Приобрел себе слуг, и домочадцы были у меня... Собрал себе серебра, и золота, и драгоценностей от царей и областей... И вот, все суета и затеи праздные, и нет от них выгоды под солнцем... И меня постигнет та же участь, что и невежду... Увы, умирает мудрый наравне с невеждой... *И возненавидел я жизнь; потому что противны мне дела, совершающиеся под солнцем... И возненавидел я весь труд мой, что трудился я под солнцем...*

— И видел я всякие угнетения, какие делаются под солнцем: и вот, слезы угнетенных, а утешителя у них нет; и от руки угнетающих их — насилие, а утешителя у них нет. *И почел я мертвых, которые давно умерли, счастливее живых...*

Только ли из-за угнетений почел он мертвых счастливее живых! И угнетенные и угнетатели — одинаковая суета сует; все — затеи праздные перед тем, что ждет и тех и других в тот час, «когда задрожат и стерегущие дом, и высоты станут страшны, и не на дороге будут ужасы... когда отходит человек в вечный дом свой и тянутся по улице плачущие...»

Из множества легенд о Толстом и до сих пор еще существует еще и та, будто он был чуть не невежда по своему образованию. Повторяю, почти все легенды о нем создавались прежде всего по его собственной вине — на основании его резких, крайних самооценок. Так было и тут: он сам пустил слух о своем невежестве: «Я почти невежда, то, что я знаю, тому я выучился кое-как, сам, урывками, без связи, без толку и то так мало». И кто из писавших о нем опровергал его мнимое невежество? Никого не могу вспомнить, кроме Алданова, который совершенно справедливо говорит (в своей книге «Загадка Толстого»):

— Толстой был одним из наиболее разносторонне ученых людей нашего времени... В своем главном «ремесле», в литературе, он знал все — древнее, новое, новейшее. Он владел множеством культурных языков, вплоть до греческого и еврейского. Он в разное время жизни интересовался со всей своей способностью страстного увлечения то философией, то естествознанием, то богословием, то теорией искусства, то педагогическими науками. То он, по его собственным словам, «с утра до ночи» занят изучением греческих классиков в подлиннике, то увлекается астрономией, то пристает ко всем своим посетителям с каким-нибудь доказательством

Пифагоровой теоремы... Люди, видевшие в библиотеке в Ясной Поляне те четырнадцать тысяч томов, которые без конца испещрены пометками Толстого, знают его «невежество»! Только его универсально-анархический ум так же мало признавал суверенитет науки, как и суверенитет государства...

Алданов тут прибавляет: «Сам Чехов, наверно, не прочитавший одной десятой книг, известных Толстому, прохаживался насчет его невежества». Алданов прав, — «прохаживался». На Чехова Толстой имел огромное влияние и не только как художник. Чехов не раз говорил мне в ту зиму, которую больной Толстой проводил в Крыму:

— Вот умрет Толстой, все к черту пойдет!

— Литература?

— И литература.

Он говорил:

— Я его боюсь. Ведь подумайте, ведь это он написал, что Анна сама чувствовала, видела, как у нее блестят глаза в темноте!

— Серьезно, я его боюсь, — говорил он, смеясь и как бы радуясь своей боязни.

Говоря о нем, он как-то сказал:

— Чем я особенно восхищаюсь, так это его презрением ко всем нам, прочим писателям, или лучше сказать, не презрением, а тем, что он всех нас, прочих писателей, считает совершенно ни за что. Вот он иногда хвалит Мопассана, меня... Отчего хвалит? Оттого что он смотрит на нас, как на детей. Наши повести, рассказы, романы для него детские игры. Вот Шекспир другое дело. Это уже взрослый, и он уже раздражает его, что пишет не по-толстовски.

Но бывало, что он говорил и другое:

— Только зачем он говорит о том, в чем ничего не смыслит? Например, о медицине? Вообще он иногда возмущает меня. Вот он пишет совершенно удивительную вещь — «Много ли человеку земли нужно?». Написано так, как никто еще тысячу лет не сумеет написать. А что говорит? Человеку, видите ли, нужно всего три аршина земли. Это вздор: человеку нужно не три аршина, а нужен весь земной шар. Это мертвому нужно три аршина. И живые не должны думать о мертвых, о смертях.

Да, да:

— Ты не думай!

Напрасная просьба:

— Ах, как же не думать! Надо, надо думать!

С самого детства была у него, по его собственному свидетельству, «излишняя восприимчивость и склонность к анализу, главными удовольствиями были уединенные размышления и наблюдения». В отрочестве эти качества и склонности развились в нем уже настолько и приобрели такой характер, что он говорит в «Юности»:

— Едва ли мне поверят, какие были любимейшие и постоянные предметы моих размышлений, — так они были несообразны с моим возрастом и положением. Но, по-моему мнению, несообразность между положением человека и его моральной деятельностью есть вернейший признак истины.

(Эти последние удивительные строки нужно очень помнить, думая вообще о всей его жизни.)

— В продолжение года, во время которого я вел уединенную, сосредоточенную в самом себе, моральную жизнь, все отвлеченные вопросы о назначении человека, о будущей жизни, о бессмертии души, уже представлялись мне; и детский слабый ум мой со всем жаром неопытности старался уяснить те вопросы, предложение которых составляет высшую ступень, до которой может достигнуть ум человека, *но разрешение которых не дано ему*...

— Мысли эти представлялись моему уму с такой ясностью и поразительностью, что я даже старался применять их к жизни, воображая, что я *первый* открываю такие великие, полезные истины.

— Раз мне пришла мысль, что счастие не зависит от внешних причин, а зависит от нашего отношения к ним, что человек, привыкший переносить страдания, не может быть несчастлив, — и, чтобы приучить себя к труду, я, несмотря на страшную боль, держал по пяти минут в вытянутых руках лексиконы Татищева или уходил в чулан и веревкой стегал себя по голой спине так больно, что слезы невольно выступали на глазах.

— Другой раз, вспомнив вдруг, что смерть ожидает меня каждый час, каждую минуту, я решил, не понимая, как не поняли того до сих пор люди, что человек не может быть иначе счастлив, как пользуясь настоящим и не помышляя о будущем, — и я дня три, под влиянием этой мысли, бросил уроки и занимался только тем, что, лежа на постели, наслаждался чтением какого-нибудь романа и едою пряников...

— То раз, стоя перед черною доской и рисуя на ней мелом разные фигуры, я вдруг был поражен мыслию: почему симметрия приятна для глаз? что такое симметрия? Это — врожденное чувство,

отвечал я сам себе. На чем же оно основано? Разве во всем в жизни симметрия? Напротив, вот жизнь — и я нарисовал на доске овальную фигуру. После жизни душа переходит в вечность, вот вечность — и я провел с одной стороны овальной фигуры черту до самого края доски. Отчего же с другой стороны нет такой же черты? Да и в самом деле, какая же может быть вечность с одной стороны! Мы, вероятно, существовали прежде этой жизни, хотя и потеряли о том воспоминание...

(Тут, кстати, надо вспомнить, что он говорит про те чувства, которые возбуждала в нем игра его матери на фортепиано: «В моем воображении возникали какие-то легкие, светлые и прозрачные воспоминания. Она заиграла патетическую сонату Бетховена, и я вспомнил что-то грустное, тяжелое и мрачное... Чувство это было похоже на воспоминания; но воспоминания чего? казалось, что вспоминаешь то, чего никогда не было».)

В каком еще роде были его, как он выражается, «умствования»? Вспомним еще раз:

— Не одним из всех философских направлений я не увлекался так, как скептицизмом, который одно время довел меня до состояния, близкого к сумасшествию. Я воображал, что, кроме меня, никого и ничего не существует во всем мире, что предметы не предметы, а образы, являющиеся только тогда, когда я на них обращаю внимание, и что, как скоро я перестаю думать о них, образы эти тотчас же исчезают...

— Склонность моя к отвлеченным размышлениям до такой степени неестественно развила во мне сознание, что часто, начиная думать о самой простой вещи, я впадал в безвыходный круг анализа своих мыслей... Спрашивая себя: о чем я думаю? я отвечал: я думаю, о чем я думаю. А теперь о чем я думаю? Я думаю, что я думаю, о чем я думаю... *Ум за разум заходил...*

«Живые не должны думать о мертвых, о смертях». Но напрасно проповедовать это «сумасшедшим», видящим мир так, как видят не люди, а «существа иных миров», людям, «отдавшимся философии». Что испытывал князь Андрей, слушая, как пела Наташа? А вот про одного своего героя, тоже слушавшего чье-то пение, Чехов писал:

— Пока она пела, ему казалось, что он ест спелую, душистую дыню...

В «Детстве» есть строки о том, как Володя, подрастая, стал «важничать», как он однажды, на прогулке детей в лес, дал всем им

понять, что детские игры для него уже глупости, и на какое грустное соображение навело это Николеньку: «Я и сам знаю, что из палки не только что убить птицу, да и выстрелить никак нельзя. Это игра. Коли так рассуждать, то и на стульях ездить нельзя... Ежели судить по-настоящему, то игры никакой не будет. А игры не будет, что ж тогда останется?» Но вот подрос и Николенька — и все меньше и меньше стал верить, что можно ездить на стульях, и все чаще и чаще стал думать, глядя на все «игры» мира: «Что это такое? Они сумасшедшие?» Он еще продолжает участвовать в этих играх; он, может быть, уже восклицает словами апостола Павла: «Не понимаю, что делаю; ибо не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то и делаю!» — но все еще делает ненавистное. Как же не делать? «Боже мой, что же мне делать, ежели я ничего не люблю, как только славу, любовь людскую? Отец, сестра, жена, все самые дорогие мне люди — я всех их отдам за минуты славы, торжества над людьми, за любовь к себе людей, которых я не знаю!» Так и Николенька-Левочка еще думает: «Все эти игры — сумасшествие, страшное по своей бессмысленности сумасшествие! Но что же мне делать? Если игры не будет, что ж тогда останется?» Он уже со страхом, уже растерянно записывает (тридцати пяти лет от роду): «Я качусь, качусь под гору смерти... А я не хочу смерти, я хочу и люблю бессмертие... Я люблю мою жизнь — семью, хозяйство, искусство...» И так и идут годы — и «качусь» и «не хочу» катиться, не хочу верить, что качусь, и потому буду себя дурманить достижениями славы, любви людской, мечтами «довести свое свиноводство до полного совершенства», прибрать к своим рукам как больше выгодно продающихся имений, купить за грош шесть тысяч десятин в Самарской губернии, завести триста голов лошадей... Но вот ночь в Арзамасе — и дурман, который он уже давно чувствовал дурманом, в котором и раньше нет-нет да и приходил в себя, вдруг совсем вылетает из головы: «Зачем я сюда заехал? Куда я везу себя? От чего, куда я убегаю?» Заснуть? Но заснуть нет никакой возможности! И ясное дело, что я сумасшедший — я, а не мир: весь мир вокруг меня не чувствует никакой тоски, никакого страха, ужаса, не видит этого «красного, белого, квадратного», мир продолжает и будет до скончания веков «играть», а я? Я сумасшедший. «Они признали, но я-то знаю, что я сумасшедший!»

XVII

Ему шел всего двадцать третий год, когда он начал писать «Детство». Тут он впервые написал смерть, свое ощущение ее, то, что он испытал когда-то при виде мертвеца. (Кстати: когда «когда-то»? Я говорю о той главе в «Детстве», которая называется «Горе»: это смерть матери Николеньки, то есть самого Левочки Толстого. Но мать Левочки умерла, когда ему было всего два года. Почему же уже в первом его произведении появляется тема смерти?)

— На другой день, поздно вечером, мне захотелось еще раз взглянуть на нее (на мать в гробу). Преодолев невольное чувство страха, я тихо отворил дверь и на цыпочках вошел в залу.

— Посредине комнаты на столе стоял гроб, вокруг него нагоревшие свечи в высоких серебряных подсвечниках; в дальнем углу сидел дьячок и тихим, однообразным голосом читал псалтирь.

— Я остановился у двери и стал смотреть, но глаза мои были так заплаканы и нервы так расстроены, что я ничего не мог разобрать; все как-то странно сливалось вместе: свет, парча, бархат, большие подсвечники, розовая обшитая кружевами подушка, венчик, чепчик с лентами и еще *что-то прозрачное воскового цвета*. Я стал на стул, чтобы рассмотреть ее лицо; но в том месте, где оно находилось, мне опять представился тот же *бледно-желтоватый, прозрачный предмет*. Я не мог верить, чтоб это было ее лицо. Я стал вглядываться в него пристальнее и мало-помалу стал узнавать в нем знакомые милые черты. Я вздрогнул от ужаса, когда убедился, что это была она; отчего закрытые глаза так впали? отчего эта страшная бледность и на одной щеке черноватое пятно под прозрачною кожей? отчего губы так бледны и склад их так прекрасен, так величествен и выражает такое неземное спокойствие, что холодная дрожь пробегает по моей спине и волосам, когда я вглядываюсь в него?

— Я смотрел и чувствовал, что *какая-то непонятная, непреодолимая сила притягивает мои глаза к этому безжизненному лицу*. Я не спускал с него глаз, а воображение рисовало мне картины, цветущие жизнью и счастием. Я забывал, что мертвое тело, которое лежало передо мной и на которое я бессмысленно смотрел, как на предмет, не имеющий ничего общего с моими воспоминаниями, была она. Я воображал ее то в том, то в другом положении: живою, веселою, улыбающейся; потом вдруг меня поражала какая-нибудь черта в бледном лице, на котором остановились мои глаза:

я вспоминал ужасную действительность, содрогался, но не переставал смотреть. И снова мечты заменяли действительность, и снова сознание действительности разрушало мечты. Наконец, воображение устало, оно перестало обманывать меня: сознание действительности тоже исчезло, и я совершенно забылся... *На время я потерял сознание своего существования и испытывал какое-то высокое, неизъяснимо-приятное и грустное наслаждение...*

Глава эта есть нечто совершенно удивительное по изображению и внешнего и внутреннего. Сила изобразительности внешнего как будто преобладает. «Свет, парча, бархат... розовая обшитая кружевами подушка, венчик, чепчик с лентами и еще что-то прозрачное, воскового цвета...» Но из этого внешнего исходит истинный ужас внутреннего: чего стоит одно это «что-то»!

— Одна из последних подошла проститься с покойницей какая-то крестьянка, с хорошенькою пятилетней девочкой на руках, которую, бог знает зачем, она принесла сюда. В это время я нечаянно уронил свой мокрый платок и хотел поднять его; но только что я нагнулся, меня поразил страшный, пронзительный крик, исполненный такого ужаса, что, проживи я сто лет, я никогда его не забуду. Я поднял голову — подле гроба стояла та же крестьянка и с трудом удерживала на руках девочку, которая, отмахиваясь ручонками, откинув назад испуганное личико и уставив выпученные глаза на лицо покойной, кричала страшным, неистовым голосом...

Николенька-Левочка, глядя на это «что-то» прозрачное, воскового цвета, бледно-желтоватый прозрачный предмет, в конце концов «потерял сознание своего существования и испытывал какое-то высокое, неизъяснимо-приятное и грустное наслаждение». Это подлинные задатки разновидности тех чувств, которые впоследствии все больше и больше будут преображать толстовское восприятие смерти, вести к чему-то «высокому». Но пока это только задатки. Преобладает же ужас. «Холодная дрожь пробегает по моей спине и волосам, когда я вглядываюсь в него». А крестьянский ребенок даже и при одном мгновенном взгляде на это «что-то» разражается «страшным, неистовым криком».

За этими первыми страницами о смерти следует рассказ «Три смерти», написанный через семь лет после того. Тут, мучительно, отчаянно хватаясь за жизнь, то раздраженно негодуя на все и на всех, то жалко умиляясь тщетными надеждами, умирает богатая молодая барыня в чахотке; умирает тупо и покорно, как обессилевший зверь, нищий работник (ямщик) и в святой и прекрасной

бессознательности умирает дерево. Барыня одна виновата перед лицом бога — в своей непокорности его неисповедимым для нас путям, его высокой и торжественной воле, в своем детском и строптивом непонимании его законов и замыслов: «Пути мои выше путей ваших и мысли мои выше мыслей ваших...» И вот тут уже возвышенно, укоризненно-грозно звучат толстовские слова о смерти:

— В тот же вечер больная уже была тело, и тело в гробу стояло в зале большого дома... Яркий восковой свет с высоких серебряных подсвечников падал на бледный лоб усопшей, на тяжелые восковые руки и окаменелые складки покрова, странно поднимающегося на коленях и пальцах ног...

— Сокроешь лицо твое — смущаются, — гласил псалтирь, — возьмешь от них дух — умирают и в прах свой возвращаются. Пошлешь дух твой — созидаются и обновляют лицо земли. Да будет господу слава вовеки.

— Лицо усопшей было строго и величаво. Ни в чистом, холодном лбе, ни в твердо сложенных устах ничто не двигалось. Она вся была внимание... Но понимала ли она хоть теперь великие слова эти?

Все же в ту пору он и сам еще «не понимал». Через год после написания им «Трех смертей», — в 1860 году, — умирает от чахотки его брат Николай — и на весь мир падает для него пепел смерти: «К чему все, — пишет он, — к чему все, когда завтра начнутся муки смерти со всей мерзостью лжи, самообмана и кончатся ничтожеством, нулем!»

Еще через год он начал «Холстомера», «историю лошади», которую можно было бы озаглавить и так: «Две жизни и две смерти», — жизнь пегого рысистого мерина, по родословному имени Мужика I, прозванного по-уличному Холстомером «за длинный и размашистый ход, равного которому не было в России», и жизнь одного из его хозяев, большого барина, гусара князя Серпуховского. Если уж говорить о беспощадности Толстого в писании земных «историй», то, несомненно, он тут беспощаднее всего. Мерин, бывшая знаменитость, доживает свой век в табуне на барском дворе в ничтожестве и одиночестве. «Бывает старость величественная, бывает гадкая, бывает жалкая старость. Бывает и гадкая и величественная вместе. Старость пегого мерина была именно такого рода... Было что-то величественное в фигуре этой лошади, и было что-то страшное — в соединении с этой величественностью отталкивающих признаков дряхлости, усиленной пестротою шерсти, и приемов и

выражения самоуверенности и спокойствия, сознательной красоты и силы». Это была «живая развалина», которую молодые лошади мучали всякими своими злыми забавами, шутками: «Он был стар, они были молоды; он был худ, они были сыты; он был скучен, они были веселы. Стало быть, он был совсем чужой, посторонний, совсем другое существо, и нельзя было жалеть его. *Лошади жалеют только самих себя и изредка только тех, в шкуре кого они себя легко могут представить...*» И вот он все-таки рассказывает по ночам этим молодым лошадям историю своей прежней жизни, своей долгой службы людям, — которые говорили про него «моя лошадь», что сначала казалось ему так же странно, как слова: «моя земля, мой воздух, моя вода», — службы, кончившейся тем, что гусар загнал его. Он «ничего и никого никогда не любил», но в нем мерину «нравилось именно то, что он был красив, счастлив, богат и потому никого не любил». Мерин говорит про него: «Его холодность, моя зависимость от него придавали особенную силу моей любви к нему. Убей, загони меня, думал я, бывало, в наши счастливые времена, — я тем буду счастливее». И гусар загнал его. «Любовница у него была красавица, и он был красавец, и кучер у него был красавец». И когда любовница сбежала от него, он в погоне за ней загнал мерина. Но своей жизнью загнал он и себя. Когда, лет через пятнадцать, приехал он однажды в гости как раз к тому барину, который был последним хозяином Холстомера, уже был он тоже развалиной:

— Приезжий, Никита Серпуховской, был человек лет за сорок, высокий, толстый, плешивый, с большими усами и бакенбардами. Он должен был быть очень красив. Теперь он опустился, видимо, физически, и морально, и денежно...

— Он был одет в военный китель и синие штаны. Китель и штаны были такие, каких бы никто себе не сделал, кроме богача; белье тоже; часы тоже были английские. Сапоги были на каких-то чудных, в палец толщины, подошвах.

— Никита Серпуховской промотал в жизни состояние в два миллиона и остался еще должен 120 тысяч. От такого куска всегда остается размах жизни, дающий кредит и возможность почти роскошно прожить еще лет десять.

— Лет десять уже проходили, и размах кончался, и Никите становилось грустно жить...

А хозяин был молод, крепок, богат, «один из тех, которые никогда не переводятся, ездят в собольих шубах, бросают дорогие

букеты актрисам, пьют вино самое дорогое с самой новой маркой, в самой дорогой гостинице, содержат самую дорогую любовницу...». Хозяин хвастался Серпуховскому своим счастьем, богатством, навязывал ему взять в запас побольше дорогих сигар, ставя его тем в неловкое и оскорбительное положение; они говорили весь вечер, как будто равные, про лошадей, про женщин, — «у кого какая: цыганка, танцовщица, француженка», но им было скучно слушать друг друга, — каждый хотел говорить только про себя. Поздно ночью они наконец разошлись.

— Хозяин лежал с любовницей. — Нет, он невозможен. Напился и врет, не переставая...

— И за мной ухаживает.

— Я боюсь — будет просить денег.

Серпуховской лежал нараздетый на постели и отдувался.

— Кажется, я много врал, — подумал он. — Ну, все равно! Вино хорошо, но свинья он большая. Купеческое что-то. И я свинья большая, — сказал он сам себе и захохотал...

— Он сел, снял китель, жилет и штаны стоптал с себя кое-как; но сапог долго не мог стащить, — брюхо мягкое мешало. Кое-как стащил один, другой, бился, бился, запыхался и устал. И так, с ногой в голенище, повалился и захрапел, наполняя всю комнату запахом табаку, вина и грязной старости...

Старого Холстомера, опаршивевшего от коросты, зарезали за усадьбой в лощине за кирпичным сараем, и драч снял с него его старую шкуру.

— Табун проходил вечером горой, и тем, которые шли с левого края, видно было что-то красное внизу, около чего возились хлопотливо собаки и перелетали вороны и коршуны...

И ритмически, торжественно кончается эта страшная «история лошади»:

— На заре в овраге старого леса, в заросшем низу на полянке, радостно выли головастые волченята. Их был пять: четыре почти равные, а один маленький, с головой больше туловища. Худая линявшая волчица, волоча полное брюхо с отвисшими сосками по земле, вышла из кустов и села против волченят. Волченята полукругом стали против нее. Она подошла к самому маленькому и, опустив колено и перегнув морду книзу, сделала несколько судорожных движений и, открыв зубастый зев, натужилась и выхаркнула большой кусок конины. Волченята побольше сунулись к ней, но она угрожающе двинулась к ним и предоставила все маленькому.

Маленький, как бы гневаясь, рыча, ухватил конину под себя и стал жрать. Так же выхаркнула волчица и другому, и третьему, и всем пятерым и тогда легла против них, отдыхая.

— Через неделю валялись у кирпичного сарая только большой череп и два мослака: остальное все было растаскано. На лето мужик, собиравший кости, унес и эти мослаки и череп и пустил их в дело.

— *Ходившее по свету, евшее и пившее мертвое тело* Серпуховского убрали в землю гораздо после. Ни кожа, ни мясо, ни кости его никуда не пригодились.

— А как уже двадцать лет всем в великую тягость было его ходившее по свету мертвое тело, так и уборка этого тела в землю была только лишним затруднением для людей. Никому уж он давно был не нужен, всем уж давно он был в тягость, но все-таки *мертвые, хоронящие мертвых*, нашли нужным одеть это тотчас же загнившее пухлое тело в хороший мундир, в хорошие сапоги, уложить в новый хороший гроб с новыми кисточками на четырех углах, потом положить этот новый гроб в другой, свинцовый, и свезти его в Москву, и там раскопать давнишние людские кости, и именно туда спрятать это гниющее, кишащее червями тело в новом мундире и вычищенных сапогах и засыпать все землей...

Эта «история лошади» есть, так сказать, история смерти мертвых.

Алданов в своей книге «Загадка Толстого» перечисляет количество смертей в его произведениях и недоуменно спрашивает: зачем собрал Толстой за свою долгую художественную жизнь такой огромный художественный материал на тему смерти? «Если мыслимо создать философию смерти, ее должен был создать Толстой. Но он не воспользовался для этических обобщений богатствами своей сокровищницы. Толстой не обмолвился ни словом о разорванном бомбой Курагине, ни о зарезанной мужем Позднышевой, ни о барыне, которую изъела чахотка в «Трех смертях»... Естествоиспытатель сделал свое дело. Философ прошел мимо». Читаешь — и глазам не веришь. Выходит как будто так, что Толстой должен был чуть не каждую смерть, написанную им, сопровождать этическими обобщениями, философией, а он меж тем будто бы даже *никогда* этого не делал. Слишком по-разному читаем мы с Алдановым «Три смерти», «Холстомера»...

Картины смертей в «Войне и мире» открываются язычески величавой картиной смерти старого графа Безухова, наивысшей разновидности «Холстомеров». Потом идет смерть «маленькой

княгини». Это — предел человеческой печали и нежности к безвинным жертвам смерти. Смерти этой предшествуют роды: вот они начались и длятся — зимний, бурный, темный вечер в снежных глухих полях; в старом, полутемном доме усадьбы старого князя Болконского зажжены перед киотом, в помощь страждущей роженице, обвитые золотом венчальные свечи, всюду тишина, ожидание — все «наготове чего-то», у всех «какая-то общая забота, смягченность сердца и сознание чего-то великого, непостижимого, совершающегося в эту минуту... Прошел вечер, наступила ночь. Таинство, торжественнейшее в мире, продолжало совершаться. И чувство ожидания и смягчения сердечного перед непостижимым не падало, а возвышалось. Никто не спал...» Говорят ли так «естествоиспытатели»? Если для Толстого рождение человека есть «таинство, торжественнейшее в мире», как может быть для него не таинством смерть человека, если только человек не умер еще при жизни, если только он не «ходячее тело», подобно Курагиным и Серпуховским? Дав земному миру новую человеческую жизнь, маленькая княгиня умерла.

— Князь Андрей вошел в комнату жены. Она мертвая лежала в том же положении, в котором он видел ее пять минут тому назад, и то же выражение, несмотря на остановившиеся глаза и на бледность щек, было на этом прелестном детском личике с губкой, покрытой черными волосиками.

«Я вас всех люблю и никому дурного не делала, и что вы со мной сделали?» — говорило ее прелестное, жалкое, мертвое лицо.

— Через три дня отпевали маленькую княгиню, и, прощаясь с нею, князь Андрей взошел на ступени гроба. И в гробу было то же лицо, хотя и с закрытыми глазами. «Ах, что вы со мной сделали?» — все говорило оно...

Дальше — знаменитое «небо над Аустерлицким полем», первый порог «исхода» из земного мира князя Андрея, его «освобождения».

— Князь Андрей не видал, чем это кончилось (рукопашная схватка русского артиллериста с двумя французами)... «Что это? я падаю? у меня ноги подкашиваются», — подумал он и упал на спину... Над ним не было ничего уже, кроме неба — высокого неба, не ясного, но все-таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нем серыми облаками. «Как тихо! спокойно и торжественно, совсем не так, как я бежал», — подумал князь Андрей, — не так, как мы бежали, кричали и дрались... совсем не так ползут облака по

этому высокому бесконечному небу. Как же я не видал прежде этого высокого неба? И как я счастлив, что я узнал его наконец. Да, все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме него. Но и того даже нет, ничего нет, кроме тишины, успокоения. И слава богу...»

— На Праценской горе, на том самом месте, где он упал с древком знамени в руках, лежал князь Андрей Болконский, истекая кровью и, сам не зная того, стонал тихим, жалостным и детским стоном.

К вечеру он перестал стонать и совершенно затих. Он не знал, как долго продолжалось его забытье. Вдруг он опять почувствовал себя живым и страдающим от жгучей и разрывающей что-то боли в голове.

«Где оно, это высокое небо, которое я не знал до сих пор и увидал нынче?» — было первою его мыслью. «И страдания этого я не знал также», — подумал он. «Да, я ничего, ничего не знал до сих пор. Но где я?»

Он стал прислушиваться и услыхал звуки приближающегося топота лошадей и звуки голосов, говоривших по-французски... Подъехавшие верховые были Наполеон, сопутствуемый двумя адъютантами...

— Voilà une belle mort*, — сказал Наполеон, глядя на Болконского.

Князь Андрей понял, что это было сказано о нем и что говорит это Наполеон... Но он слышал эти слова как бы он слышал жужжание мухи... Ему жгло голову, он чувствовал, что он исходит кровью, и он видел над собою далекое, высокое и вечное небо. Он знал, что это был Наполеон — его герой, но в эту минуту Наполеон казался ему столь маленьким, ничтожным человеком в сравнении с тем, что происходило теперь между его душой и этим высоким, бесконечным небом с бегущими по нем облаками... он рад был только тому, что остановились над ним люди, и желал только, чтоб эти люди помогли ему и возвратили бы его к жизни, которая казалась ему столь прекрасной, *потому что он так иначе понимал ее теперь...*

Глядя в глаза Наполеону, князь Андрей думал о ничтожестве величия, о ничтожности жизни, которой никто не мог понять значения, и о еще большем ничтожестве смерти, смысл которой никто не мог понять и объяснить из живущих.

---

* Какая прекрасная смерть (*франц.*).

XVIII

И вот наконец второе и последнее «освобождение» князя Андрея.

— Князь Андрей не только знал, что он умрет, но он чувствовал, что он умирает, что он уже умер наполовину. Он испытал сознание отчужденности от всего земного и радостной и странной легкости бытия. Он, не торопясь и не тревожась, ожидал того, что предстояло ему. *То грозное, вечное, неведомое и далекое, присутствие которого он не переставал ощущать в продолжении всей своей жизни*, теперь для него было близкое и — по той странной легкости бытия, которую он испытал — почти понятное и ощущаемое...

Прежде он боялся конца. Он два раза испытал это страшномучительное чувство страха смерти, конца, и теперь уже не понимал его.

Первый раз он испытал это чувство тогда, когда граната волчком вертелась перед ним (на Аустерлицком поле), и он смотрел на жнивье, на кусты, на небо, и знал, что перед ним была смерть. Когда он очнулся после раны и в душе его, мгновенно, как бы освобожденный от удерживавшего его гнета жизни, распустился этот цветок любви вечной, свободной, *не зависящей от этой жизни*, он уже не боялся смерти и не думал о ней.

Чем больше он в те часы страдальческого уединения и полубреда, которые он провел после своей раны, вдумывался в новое, открытое ему начало вечной любви, *тем более он, сам не чувствуя того, отрекался от земной жизни. Все, всех любить, всегда жертвовать собой для любви значило — никого не любить, значило — не жить этой земной жизнью*. И чем больше он проникался этим началом любви, тем больше он отрекался от жизни, и тем совершеннее уничтожал ту страшную преграду, которая (без любви) стоит между жизнью и смертью.

Но после той ночи в Мытищах, когда в полубреду перед ним явилась та, которую он желал, и когда он, прижав к своим губам ее руку, заплакал тихими, радостными слезами, любовь к одной женщине незаметно закралась в его сердце и опять привязала его к жизни. И радостные, и тревожные мысли стали приходить ему.

Болезнь его шла своим физическим порядком, но то, что Наташа называла: *это сделалось с ним*, случилось с ним за два дня перед приездом княжны Марьи. Это была последняя нравственная борьба

---

* Курсив Толстого. (*Прим. И. А. Бунина.*)

между жизнью и смертью, в которой смерть одержала победу. Это было неожиданное сознание того, что он еще дорожил жизнью, представлявшеюся ему в любви к Наташе, и последний, покоренный припадок ужаса перед неведомым.

Это было вечером. Он был, как обыкновенно после обеда, в легком лихорадочном состоянии, и мысли его были чрезвычайно ясны. Соня сидела у стола. Он задремал. Вдруг ощущение счастья охватило его.

«А, это она вошла!» — подумал он.

Действительно, на месте Сони сидела только что неслышными шагами вошедшая Наташа.

С тех пор, как она стала ходить за ним, он всегда испытывал это физическое ощущение ее близости. Она сидела на кресле боком к нему, заслоняя собой от него свет свечи, и вязала чулок.

«Могло или не могло быть?» — думал он теперь, глядя на нее и прислушиваясь к легкому стальному звуку спиц. «Неужели только затем так странно свела меня с нею судьба, чтобы мне умереть? Неужели мне открылась истина жизни только для того, чтобы я жил во лжи? Я люблю ее больше всего в мире. Но что же делать мне, ежели я люблю ее?» — сказал он, и он вдруг невольно застонал по привычке, которую он приобрел во время своих страданий.

Услыхав этот звук, Наташа положила чулок, перегнулась ближе к нему и вдруг, заметив его светящиеся глаза, подошла к нему легким шагом и нагнулась.

— Вы не спите?

— Нет, я давно смотрю на вас; я почувствовал, когда вы вошли... Никто, как вы, не дает мне той мягкой тишины... того света. Мне так и хочется плакать от радости.

Наташа ближе придвинулась к нему. Лицо ее сияло восторженною радостью.

— Наташа, я слишком люблю вас. Больше всего на свете.

— А я? — Она отвернулась на мгновение. — Отчего же слишком? — сказала она.

— Отчего слишком? Ну, как вы думаете, как вы чувствуете по душе, буду я жив? Как вам кажется?

— Я уверена, я уверена! — почти вскрикнула Наташа, страстным движением взяв его за обе руки.

Он помолчал.

— Как бы хорошо! — И, взяв ее руку, он поцеловал ее.

...Скоро после этого он закрыл глаза и заснул. Он спал недолго и вдруг в холодном поту тревожно проснулся.

Засыпая, он думал все о том же, о чем он думал все это время, — о жизни и смерти. И больше о смерти. Он чувствовал себя ближе к ней.

«Любовь? Что такое любовь?» — думал он.

«Любовь не понимает смерти. Любовь есть жизнь. Все, все, что я понимаю, я понимаю только потому, что люблю. Все есть, все существует только потому, что я люблю. Все связано одною ею. Любовь есть бог, и умереть — значит мне, частице любви, вернуться к общему и вечному источнику». Но это были только мысли. Чего-то недоставало в них, что-то было односторонне-личное, умственное — не было очевидности. И было то же беспокойство и неясность. Он заснул.

Он видел во сне, что он лежит в той же комнате, в которой лежал в действительности, но что он не ранен, а здоров. Много разных лиц, ничтожных, равнодушных, являются перед князем Андреем. Он говорит с ними, спорит о чем-то ненужном. Они собираются ехать куда-то. Князь Андрей смутно припоминает, что все это ничтожно и что у него есть другие важнейшие заботы, но продолжает говорить, удивляя их, какие-то пустые, остроумные слова. Понемногу, незаметно все эти лица начинают исчезать, и все заменяется одним вопросом о затворенной двери. Он встает и идет к двери, чтобы задвинуть задвижку и запереть ее. От того, что он успеет или не успеет запереть ее, зависит все. Он идет, спешит, ноги его не двигаются, и он знает, что не успеет запереть дверь, но все-таки болезненно напрягает все свои силы. И мучительный страх охватывает его. И этот страх есть страх смерти: за дверью стоит *оно**. Но в то же время, как он бессильно-неловко подползает к двери, это что-то ужасное, с другой стороны уже, надавливая, ломится в нее. Что-то нечеловеческое — смерть — ломится в дверь, и надо удержать ее. Он ухватывается за дверь, напрягает последние усилия — запереть уже нельзя — хоть удержать ее; но силы его слабы, неловки, и надавливаемая ужасным усилием дверь отворяется и опять затворяется.

Еще раз *оно* надавило оттуда. Последние сверхъестественные усилия тщетны, и обе половинки отворились беззвучно. *Оно* вошло, и оно есть смерть. И князь Андрей умер.

---

* Курсив Толстого. (*Прим. И. А. Бунина.*)

Но в то же мгновение, как он умер, князь Андрей вспомнил, что он спит, и в то же мгновение, как он умер, он, сделав над собой усилие, проснулся.

«Да, это была смерть. Я умер — я проснулся. Да, смерть — пробуждение», вдруг просветлело в его душе, и завеса, скрывавшая до сих пор неведомое, была приподнята перед его душевным взором. Он почувствовал как бы *освобождение прежде связанной в нем силы* и ту странную легкость, которая с тех пор не оставляла его.

Когда он, очнувшись в холодном поту, зашевелился на диване, Наташа подошла к нему и спросила, что с ним. Он не ответил ей и, не понимая ее, посмотрел на нее странным взглядом.

Это и было то, что случилось с ним за два дня до приезда княжны Марьи...

С этого началось для князя Андрея вместе с пробуждением от сна пробуждение от жизни...

Последние дни и часы его прошли обыкновенно и просто. И княжна Марья и Наташа, не отходившие от него, чувствовали это. Они не плакали, не содрогались и последнее время, сами чувствуя это, ходили уже не за ним (его уже не было, он ушел от них), а за самым близким воспоминанием о нем — за его телом...

Они обе видели, как он глубже и глубже, медленно и спокойно опускался от них куда-то туда, и обе знали, что это так должно быть и что это хорошо...

XIX

Он записал однажды:

— На меня смерть близких никогда не действует очень больно.

Это было записано уже в старости, после многих смертей близких. Не поэтому ли и записано так, — не от притупления ли чувств, не от привычки ли к боли всяких жизненных потерь? Но он выражался всегда очень обдуманно, очень точно, он не написал бы даром слово «никогда». Как же объяснить, что смерть близких никогда не действовала на него очень больно? Известно, какой душевный хлад и ужас испытывал он, теряя сперва одного брата, потом другого, что чувствовал Левин, когда умирал его брат Николай: его в эти дни спасала только Кити, только ощущение близости с ее молодой жизнью и любовью и его собственная любовь к ней. И вот все-таки он говорит, что терять близких было ему «не очень больно». И это «не очень больно» кажется на первый взгляд странно.

«Я всегда как-то физически чувствую людей», — говорил он про себя (давая этим прекрасный повод к сугубой убежденности тупых людей в их мнении, что ему доступна была только «плоть» мира). Но и все чувствовал он «физически», то есть всем своим существом, с необыкновенной остротой. А чувствование смерти, всего ее телесного и духовного процесса было в нем обострено особенно, — это закон: «степень чувства жизни пропорционально степени чувства смерти», — и никогда не оставляло его. Как же в таком случае «не очень больно» было ему возле умиравших близких? А меж тем так именно и было, — вернее, почти так. «Не очень больно» перенес он смерть своего любимого сына, маленького Ванечки, потом самой любимой дочери, Маши.

В воспоминаниях Александры Львовны сказано:

— Маша угасала. Я вспомнила Ванечку, на которого она теперь была похожа... Тихо, беззвучно входил отец, брал ее руку, целовал в лоб... Когда она кончалась, все вошли в комнату. Отец сел у кровати и взял Машу за руку.

При выносе тела из дома, он проводил гроб только до ворот — и пошел назад, в дом...

Об этом удивительно рассказал Илья Львович:

— Когда понесли гроб в церковь, он оделся и пошел провожать. У каменных столбов он остановил нас, простился с покойницей и пошел по пришпекту домой. Он шел по тающему мокрому снегу частой старческой походкой, как всегда резко выворачивая носки ног, и ни разу не оглянулся...

В 1903 году он записал:

— Страдания, — всегда неизбежные, как смерть, — разрушают границы, стесняющие наш дух, и возвращают нас, — уничтожая обольщения материальности, — к свойственному человеку пониманию своей жизни как существа духовного, а не материального...

Писал и говорил то же самое не один раз и раньше и позже.

— Думают, что болезнь — пропащее время. Говорят: «Вот выздоровлю — и тогда...» А болезнь самое важное время...

Вспоминая самые трудные часы своих собственных тяжелых болезней, умилялся:

— Эти дорогие мне минуты умирания!

И про дочь писал так:

— 26 ноября 1906 года. Сейчас час ночи. Скончалась Маша. Странное дело, я не испытывал ни ужаса, ни страха, ни сознания совершавшегося чего-то исключительного, ни даже жалости, горя.

Я как будто считал нужным вызвать в себе особенное чувство умиления, горя и вызвал его, но в глубине души я был покоен... Да, это событие в области телесной, и потому безразличное. Смотрел я все время на нее, когда она умирала, удивительно спокойно. Для меня она была раскрывающееся перед моим раскрыванием существом. Я следил за его раскрыванием, и оно радостно было мне. Но вот раскрывание этот доступной мне области прекратилось, то есть мне перестало «быть видно это раскрывание; но то, что раскрывалось, то есть. Где? Когда? Это вопросы, относящиеся к процессу раскрывания *здесь* и не могущие быть отнесены к истинной — вне пространственной и вневременной — жизни.

И впоследствии, вспоминая ее:

— Живу и часто вспоминаю последние минуты Маши (не хочется называть ее Машей, так не идет это простое имя к тому существу, которое ушло от меня). Она сидит обложенная подушками, я держу ее худую и милую руку и чувствую, как уходит жизнь, как она уходит. Эти четверть часа одно из самых важных, значительных времен моей жизни...

XX

«Чего я тоскую, чего боюсь? — Меня, неслышно отвечает голос смерти. Я тут. — Мороз подрал мне по коже. Да, смерти. Она придет, она — вот она, а ее не должно быть».

И вот вся жизнь отдается на приобретение наиболее полного чувства, что не только «ее не должно быть», но что и нет ее.

Как так нет? На этот вопрос был ответ даже и тогда, — ночью в Арзамасе.

«Кажется, что смерти страшно, а вспомнишь, подумаешь о жизни, то умирающей жизни страшно».

В ту ночь он чувствовал: «Я надоел себе, несносен, мучителен себе». Но какой «я»? Такой, какой жил жизнью «умирающей», а не вечно живущей, вне пространственной, вневременной. Он был в отчаянии: «Не могу уйти от себя!» От какого «себя»? От временного и телесного. А уйти, «освободиться» было необходимо: иначе «ужас — красный, белый, квадратный», иначе «злоба на себя и на то, что меня сделало», то есть «злоба» на самого творца, давшего это временное и телесное существование, которое без преодоления «подчинения», коему в той или иной мере подвержены все земные существа, без стремления к «освобождению», без все растущего

чувства возврата к творцу, близости и единства с ним и без радости ощущения его благой воли, коей во всем надо подчиняться без всякого мудрствования и прекословия, есть непременно злоба, ужас, смерть, «умирающая жизнь».

И вот начинается уже непрестанная борьба с этой «умирающей жизнью».

— Учение церкви о бессмертности личной жизни навеки закрепляет личность... А Христос звал жить не для своей личности...

Это писалось в пору «Исповеди» и «В чем моя вера». И, отмечая эту пору, Маклаков говорит:

— В этих двух книгах — вся сущность толстовского учения... Церковь отрицает конечность человеческой жизни, верит в загробную, то есть бесконечную жизнь. А Толстой искал смысла той жизни, которая кончается смертью, ибо, как человек неверующий, он в смерти видел полный конец. Искал и нашел: вся беда в том, что я жил дурно, сказал он себе; жизнь, кончающаяся смертью, обретает смысл только при исполнении двух заповедей: не противиться злому и живи для ближнего, а не для своей личности...

И Маклаков утверждает:

— «В чем моя вера» есть завершение мировоззрения Толстого...

«Завершение»! Маклаков точно и в глаза никогда не видал последующих толстовских записей.

«Толстой, как человек неверующий, видел в смерти полный конец». На чем основано это утверждение? И на том, что «сам Толстой говорил мне не раз», и на том, думаю, что Толстой писал, например, так:

— Будущая жизнь — бессмыслица...

Это как будто совершенно подкрепляет утверждение Маклакова. Но чем кончена эта фраза о будущей жизни, — как читается она полностью?

— Будущая жизнь — бессмыслица: жизнь вневременна.

И что еще писал Толстой в эту же пору?

— Мы истинно живем ни в прошлом и ни в будущем, которых нет, а только в настоящем: пространство и время — условность.

— Встретился на дороге с сумасшедшим. Прощаясь с ним, говорю: ну, прощай, на том свете увидимся. А он мне: какой такой тот свет? Свет один. — Это мне очень понравилось!

Он «не верил в бессмертие»? Но в какое?

— Как ни желательно бессмертие души, его нет и не может быть, потому что нет души, есть только сознание Вечного (Бога).

— Смерть есть прекращение, изменение той формы сознания, которая выражалась в моем человеческом существе. Прекращается сознание, но то, что сознавало, неизменно, потому что вне времени и пространства... Если есть бессмертие, то только в безличности... Божеское начало опять проявится в личности, но это будет уже не та личность. Какая? Где? Как? Это дело божье.

— Чтобы верить в бессмертие, надо жить бессмертной жизнью *здесь*.

— Смерть есть перенесение себя из жизни мирской (то есть временной) в жизнь вечную *здесь*, *теперь*, которое я (уже) испытываю.

Что значит «смерть» в этой фразе? Есть ли это то, что обычно называется смертью и что он и сам разумел когда-то под этим словом? Уже совсем не то. Это живой и радостный возврат из земного, временного, пространственного в неземное, вечное, беспредельное, в лоно Хозяина и Отца, бытие которого совершенно несомненно.

Алданов начинает свою книгу о Толстом известной цитатой из Канта: «Две вещи наполняют мой дух вечно новым и все большим благоговением — звездное небо надо мной, нравственный закон во мне». Алданов говорит, что если разделить эту формулу, выражающую идею совершенного гармонического человека, на две части, то нужно будет отнести первую часть к язычнику Гете, а вторую к христианину Толстому. Для Толстого, говорит Алданов, существует только нравственный закон: das ewig Eine*, которому всю жизнь «удивлялся» Гете, это «звездное небо» Канта, в толстовстве не имеет места.

Чем же доказывает Алданов свою мысль? «Толстой говорит о науке не как философ, а как полемист... Для Толстого «туманные пятна», «спектральный анализ звезд», «химический состав Млечного Пути» — никому не нужный профессорский вздор, равно как вздор и вся «научная наука», как он выражался, противопоставляя такой науке науку, «только действительно нужную людям», то есть практическую и улучшающую жизнь людей». Но ведь «звездное небо» могло возбуждать в Толстом и другие мысли и чувства, ничуть не связанные с его презрением к профессорам, занятым изучением химического состава Млечного Пути. И Алданов сам подтверждает это — тем, что говорит далее. Он приводит одну из

* вечно единственное (нем.).

причин вражды Толстого к «научной науке»: «выдумали, говорит Толстой, приборы для акциза, для нужников, а прялка, ткацкий бабий станок, соха все такие же, как были при Рюрике»; но сам же спрашивает далее: «тут ли, однако, надо искать настоящую причину антипатии Толстого к науке?» — и отвечает: Толстой приписывал себе невежество, а меж тем «был одним из наиболее разносторонне ученых людей нашего времени, только его универсально-анархический ум так же мало признавал суверенитет науки, как суверенитет государственной власти». Почему же так мало признавал? Тут Алданов сам же говорит, что потому, «что для преодоления науки Толстой решился привлечь себе на помощь «точку зрения вечности». «Вы изобрели противодифтеритную сыворотку, вылечили ребенка? — говорит он. — Ну, а дальше что?» Он обращался когда-то к Мопассану с вопросом: «Зачем все это?» — разумея под «всем этим» красоту и любовь в понимании французского писателя, и отвечал: «Ведь это хорошо было бы, если бы можно было остановить жизнь. А она идет. А что такое значит: идет жизнь? Идет жизнь — значит: волосы падают, седеют, зубы портятся, запах изо рта, морщины... Где же то, чему я служил? Где же красота? А она — все. А нет ее — ничего нет», — говорил Толстой, становясь на точку зрения мопассанов. — «Нет жизни. Но мало того, что нет жизни в том, в чем казалась жизнь, — сам начинаешь уходить из нее, сам стареешь, дуреешь, разлагаешься, другие на твоих глазах выхватывают у тебя те наслаждения, в которых было все благо жизни». Как же связать с этой выпиской Алдановым такой цитаты из Толстого с его, Алданова, замечанием, что «Толстой говорит о науке не как философ, а как полемист»? И что же такое «точка зрения вечности», как не «звездное небо надо мною»? Выписав слова Толстого, обращенные к Мопассану, Алданов замечает: «О том, в чем видел Мопассан наслаждения, Толстой говорил со скорбным презрением состарившегося эллина». И дальше: «С точки зрения вечности отнюдь не более прочно все, что противопоставлено науке. Где дует ветер вечности, там любое человеческое построение рассыпается, как карточный дом, и само толстовство в первую очередь. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraye*, — как сказал Паскаль». Но, возражу я Алданову, «ces espaces» ведь и есть «звездное небо». Правильно, что перед ними «рассыпается всякое человеческое построение». Только почему и

* Вечное молчание бесконечных пространств пугает меня (*франц.*).

само «толстовство»? Все дело в том, как понимать Толстого. Толстой от ужаса перед «ces espaces» все-таки спасся. Чем? Тем, чем «состарившийся эллин» не спасся бы. В том-то и дело, что Толстой никогда не был «эллином».

Алданов вспоминает слова Байрона, что «мысль есть ржавчина жизни», что «рассуждение противно природе человека», что «рассуждение — демон», говорит, что в эпоху создания «Войны и мира» Толстой был недалек от байроновского воззрения, бессознательно, может быть, следовал инстинкту самосохранения, смутно предвидел, куда, к каким жертвам приведет его «демон» Байрона, и отмечает противоположность двух семей — семьи Болконских и семьи Ростовых (иначе говоря, семьи Волконских и семьи Толстых): в первой всегда у всех идет напряженная духовная работа, мысль, «рассуждение», а во второй никогда и никто не мыслит; и что же? все Болконские несчастны, а все Ростовы блаженствуют. По мнению Алданова, Толстой и сам прекрасно знал это, Алданов видит одно из значений «Войны и мира» в том, что в ней есть борьба Толстого против байроновского демона, борьба и за себя, как наследника Волконских, и вообще за всех, этому демону преданных: «Ах, душа моя, — говорит Пьеру князь Андрей накануне рокового для него дня Бородинской битвы, — последнее время мне стало тяжело жить. Я вижу, что стал понимать слишком много. А не годится человеку вкушать от древа познания добра и зла». Тут Алданов прав. Но ведь не «вкушать» ни князь Андрей, ни сам Толстой не могли. А это и вело и привело их обоих к «звездному небу».

XXI

«Восемьдесят тысяч верст вокруг самого себя». Нет, не только вокруг самого себя, но и вокруг всего на свете. И что же оказалось на свете? Кроме одного того, «чем люди живы», все оказалось «не то» и «не так», и настало одиночество, которого не бывает ни под землей, ни на дне морском, говоря его собственными страшными словами.

Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои, —

не раз повторял он в последний год своей жизни.

Какие чувства и какие мечты? От всех чувств и от всех мечтаний осталось теперь, на исходе жизни, одно: «Помоги, Отец! Ненавижу свою поганую плоть, ненавижу себя (телесного)... Всю ночь не спал. Сердце болит, не переставая. Молился, чтобы Он избавил меня от этой жизни... Отец, покори, изгони, уничтожь поганую плоть. Помоги, Отец!»

Молитва — не просьба, любил он говорить. Но что же это, как не просьба? И сколько их, этих просьб, в его дневниках, особенно в дневнике 1910 года? И к кому они, эти просьбы? К какой-то «абстракции», каковой, по общему мнению, будто бы был для него бог? Но кто же молится абстракции? И можно ли иметь к абстракции столь живую, нежную, сыновнюю, радостно утешающую любовь, которая то и дело переполняла его душу в самые сокровенные и жуткие минуты ее?

— Лежал, засыпая; вдруг точно что-то оборвалось в сердце. Подумал: так приходит смерть от разрыва сердца, и остался спокоен, — ни огорченья, ни радости, но блаженно спокоен; здесь ли, там ли, — я знаю, что мне хорошо, — то, что должно, — как ребенок на руках матери, подкинувшей его, не перестает радостно улыбаться, зная, что он в ее любящих руках.

Князь Андрей спрашивает:

«Чего ждать там, за гробом?»

Алданов, вспоминая этот вопрос, говорит, что Толстой отвечает на него так:

— Возвращения к Любви.

И это наводит Алданова на такие мысли:

— Одна из самых страшных фантазий Гойа изображает судорожно искривленную руку, протянутую из-под камня пустынной могилы, отчаянно цепляющуюся за что-то — за пустоту; подпись гласит одно слово: Nada. Ничто... Подпись, сделанная Толстым, — возвращение к Любви, — много ли она лучше, чем «Nada»? Может быть, «через двести — триста лет», как говорит Вершинин у Чехова, наступит черед «толстовства». А дальше? А дальше все равно все пожрет смерть...

Но, повторяю, как понимает Алданов толстовство? По Маклакову, «бог был для Толстого только непонятная начальная сила; бессмертие духа — простое признание факта, что наша духовная жизнь откуда-то появилась и, следовательно, куда-то уйдет; а ведь

вера есть не столько знание истины, сколько преданность ей, и Толстой сам любил повторять эти слова Ивана Киреевского... Толстой пошел против церкви, отвергнув религиозное мировоззрение, и пошел против мира, отвергнув взгляды мира на жизнь...» Так, очевидно, думает и Алданов, хотя что же тогда оставляет он с Макдаковым Толстому? Толстой отверг мировоззрения и мира и религии? Но зачем же отвергать мировоззрения мира, если отвергнуто мировоззрение религиозное? «Толстой повторял слова Киреевского». Пусть повторял: духовно жил он все-таки в полной противоположности этим словам — именно «преданностью», а не «знанием», о чем сказал еще в «Исповеди», отвергнув «знание» в деле веры. Nada! Для ума, разумеется, Nada. Но люди находят спасение от смерти не умом, а чувством.

— Никто же да убоится смерти: свободи бо нас Спасова смерть...

— Смерти празднуем умерщвление... инаго жития вечнаго начала...

Так поет церковь, отвергнутая Толстым. Но песнопений веры (веры вообще) он не отвергал. Что освободило его? Пусть не «Спасова смерть». Все же «праздновал» он «Смерти умерщвление», чувство «инаго жития вечнаго» обрел. А ведь все в чувстве. Не чувствую этого «Ничто» — и спасен.

«В будущую жизнь он верил плохо», — говорит Алданов. И приводит его собственные слова: «Как-то спросил себя: верю ли я? И невольно ответил, что не верю в определенной форме...» Но ведь так говорил он только в те минуты, когда «спрашивал себя». Не эти минуты спасали его: спасали те, когда он не спрашивал.

Мой старый друг доктор И. Н. Альтшуллер пишет мне:

«Когда читал Ваши статьи о Толстом, вспомнил ночь в Крыму, на Гаспре, когда я один сидел около тяжко больного Льва Николаевича. Мы, врачи, тогда почти потеряли всякую надежду, и сам он, по-моему, убежден был в неизбежности конца. Он лежал, и, казалось, был в полузабытьи с очень высокой температурой, дышал очень поверхностно, и вдруг слабым голосом, но отчетливо произнес: «От тебя пришел, к тебе вернусь, прими меня, господи, — произнес так, как всякий просто верующий человек».

Париж, 7.VII.37

И. А. Бунин
Полное собрание сочинений в 13 томах
ТОМ 8

Издание осуществляется при информационной поддержке «Российской газеты», «Литературной газеты», «Литературной России», газет «Известия», «Комсомольская правда», «Трибуна»,«Труд», «Московский комсомолец», «Воскресенье», телеканала «Культура» ВГТРК, ТВЦ, радиостанций «Радио России», «Маяк», «Эхо Москвы», «Европа Плюс».

Руководитель издательского проекта
академик Академии российской словесности — Г. В. Пряхин

Заместитель руководителя издательского проекта — *Д. Г. Горбунцов*

Научный редактор — *кандидат филологических наук И. И. Жуков*

Главный художник проекта — *М. В. Георгиев*

Технический редактор — *Н. В. Карпова*

Набор и верстка: *Т. В. Серегина, Т. И. Сенашенко, Н. В. Карпова*

Корректура: *А. А. Санина*

Техническое обеспечение: *С. Д. Афанасьев*

Подписано в печать 16.06.2006. Формат 60x90 $^{1}/_{16}$. Печать офсетная.
Объем 34 п.л. Тираж 5000 экз. Заказ № 2535.

ISBN 5-88528-497-0

9 785885 284974

Государственное предприятие
газетно-журнальное объединение «Воскресенье»
при участии ООО ИИА «Евразия+»
127018, Москва, ул. Октябрьская, д. 98, строение 1
Тел./факс: (495) 780-05-56
www.voskres.info

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ОАО «Ивановская областная типография»
153008, г. Иваново, ул. Типографская, 6.
E-mail: 091-018@adminet.ivanovo.ru